

Ирис Юханссон – Особое детство



особое **ДЕТСТВО**

В книге Ирис Юханссон мир ребенка-аутиста описан «изнутри», на собственном опыте. Однако этим уникальность истории Ирис не ограничивается. Это еще и история необыкновенного родительского опыта: отец Ирис, шведский крестьянин, без чьей-либо профессиональной помощи понял проблемы своей дочери. Благодаря его любви, вниманию и отзывчивости Ирис, бывшая ребенком с «глубокими нарушениями общения», сумела их преодолеть. Она стала психологом, консультирующим педагогов и родителей.

Книга адресована широкому кругу читателей. Она будет особенно интересна родителям и специалистам, работающим с детьми с нарушениями эмоционально-волевой сферы.

Ирис Юханссон. Особое детство. Издательство "Теревинф". Москва. 2010.
Перевод со шведского О. Б. Рожанской.

Особое детство

В глубине Швеции в арендованном доме священника при церкви жила большая семья. Дед въехал в него в двадцатых годах с женой, семьей детьми, сестрой, двумя братьями и тестем. Дети выросли, старики умерли, народилось новое поколение.

Мой отец был младшим ребенком в семье, его мать была вечно занята, и она поручила его дедушке. Овдовев, его дед, отец матери, переехал к своей дочери и ее семье и посвятил себя заботе о младшем внуке. Папин дедушка был человек необычный: на его долю выпало много лишений, но жизнь научила его мудрости и смирению. Он заботился обо всех «заблудших», которые попадались ему на пути, и помогал им, как мог, пока они не вставали на ноги; он понимал самые важные законы жизни.

Бабушка никогда не понимала своего отца, она считала его безответственным человеком, не умевшим устроиться в жизни, но думала, что раз уж он переехал к ней, то может на что-то согдаться. Она поручила ему воспитание моего отца.

Дедушка не придавал особого значения воспитанию. Он считал, что ребенок всему научится сам, только нужно предоставить ему свободу, а взрослым, которые его окружают, рассказывать о своем опыте и умолкать, если это становится совсем уж нелепым. Он верил в

Бога, но был невысокого мнения о его «представителях» на земле; он считал, что они стремятся к власти, к тому, чтобы все пресмыкались перед ними и отдавали последнюю лепту на церковь. Он думал, что это не по-божески. У него была непосредственная личная связь с Тем, который на небесах, и он считал, что Он иногда подсказывает людям, как поступить, но чаще всего Он молчит, и тогда людям приходится полагаться на свое собственное разумение. А молчит Он, чтобы люди сами набирались ума.

Дедушка глубоко и страстно любил природу и животных, он постоянно разговаривал с ними, и ему казалось, что он обретает новую связь с миром каждый раз, когда размышляет на природе. Мой отец всегда был рядом, они подолгу бродили по лесам и полям. Дедушка был рядом с ним, когда он учился ухаживать за домашними животными, учил его, как нужно разговаривать с животными, чтобы успокаивать их, и учил понимать, чего они боятся и как сделать так, чтобы они не боялись. Так у отца зародился интерес к коровам. Он решил, что когда вырастет, станет скотником.

Дедушка умер, когда папе было двенадцать лет, и для него это была огромная утрата. Папа рассказывал, что он нарисовал у себя в голове портрет деда, и каждый день обсуждал все проблемы с этим внутренним образом. Дед словно был рядом и в трудные минуты помогал ему принять верное решение, в одно мгновение избавлял от уныния и отчаяния.

Когда я родилась, самыми старшими в семье были родители отца. Кроме них у нас в доме жила еще Эмма. Я любила ее больше всех домочадцев. Она была теткой матери, и не хотела жить в доме для престарелых.

Эмма была «своя». Она называла меня ласковыми словами и никогда не уставала слушать меня. Она была самая добрая и человечная. Соседские юноши, да и люди постарше обращались к ней за советом. Она была очень мудра и никогда не судила и не осуждала никого. Она давала людям утешение и совет, не требуя, чтобы они непременно последовали ему. Она даже никогда не спрашивала их об этом, ей было довольно, если те, кто внимал им, находил в душе хотя бы маленький лучик надежды, обретал силы жить дальше.

У нее была тяжелая жизнь. Она родилась с вывихом руки, и эта рука не стала расти. Под рукавом платья угадывалась маленькая тонкая белая ручка с неподвижной кистью. Она была дочерью батрака и всю жизнь в поте лица добывала свой хлеб земледелием и уборкой. В молодости она слыла дурнушкой, и никто к ней не сватался. Однако она родила двоих детей: маленькую, красивую, златокудрую девочку, она умерла от аппендицита, когда ей было пять лет от роду, и мальчика, который был умственно отсталым и умер в семнадцать лет. Больше всего на свете Эмма любила читать. Когда рабочие построили Народный дом, и в нем открылась библиотека, она прочла все без исключения книги. Она никогда не ходила в школу, но одно время мыла полы в школе, и за это школьный учитель научил ее грамоте. У нее хорошо получалось представлять прочитанное на сцене, и она стала режиссером, суфлером и реквизитором в детском театре.

По своим взглядам она намного опередила то время, в котором жила. Она любила ходить в кино и в молодости отправилась в Гетеборг с коровой, продала ее, и пересмотрела все фильмы, которые успела, пока не подошел срок возвращаться домой. Когда я была маленькая, у нее испортилось зрение, и больше всего ее огорчало, что она уже не может читать. Однако она могла рассказывать и охотно рассказывала. Ее всегда окружали люди, которых она очень живо развлекала.

Все посвящали Эмму в свои тайны. Я рассказывала ей о своих друзьях, существах, которые жили в моем «внешнем» измерении, которых никто, кроме меня, не знал и которых никто кроме меня не мог видеть. Их звали Слире и Скюдде, и я обычно встречала их, когда сидела одна на качелях. Я могла войти в контакт с ними и по-другому — особым образом раскачиваясь вперед и назад. Они приходили и забирали меня с собой. Мы улетали прочь и водили хоровод вокруг верхушек деревьев, и возвращались назад ужасно счастливые и хохочущие. Я рассказывала Эмме обо всем, что я увидела и узнала, и Эмма с интересом слушала меня. Она говорила: «Вот это да! Ну и ну!» и таинственно улыбалась, и вся светилась любовью. Я и сегодня уверена, что она все понимала, что иногда и сама она была в этой

реальности. Она понимала такие вещи о людях и о жизни, о которых другие не догадывались, и она черпала это понимание из самых сокровенных глубин своего существа.

Эмма жила в людской. Все свои пожитки она держала в комод. Больше у нее ничего не было. Там стояла изразцовая печь с камином. Топить камин было лучше, тогда тепло не уходило так быстро. «Нехорошо топить на ветер», — говорила Эмма.

По другую сторону прихожей жили два моих дяди — братья отца.

Сначала они жили в маленькой комнате, смежной с большой, которую на время сняла у нас супружеская пара. Когда они съехали, дядям осталась большая комната. Она была утеплена на зиму. В ней были дверные рамы, и камин давал тепло.

Андерс был высоким, статным, светловолосым. Он был красив и любил танцевать. В молодости у него было много женщин, но он был такой своенравный, что никто особенно не хотел за него замуж. Рассказывали, что одну он называл ханжой, потому что она в рот не брала спиртного. На этом их любовь закончилась. Он играл на контрабасе и любил природу. Я часто отпрашивалась с ним объезжать «владения». Он что-то бурчал себе под нос, бранил лошадь, словно это был человек.

Нильс был темноволос и смуглолиц. Он любил девушек и все, что называется спортом. Он играл со всеми подростками и устраивал в своей комнате молодежный клуб. Зимой все сидели в темноте, поближе к камину, и слушали «Радио Люксембург». Потом все начинали философствовать, рассказывать свои сны, говорили о бедности, в которой мы живем, о превратностях любви. Здесь сплетничали, рассказывали о путешествиях, одно страшнее другого. Нильс играл на саксофоне и кларнете и любил джаз.

Между комнатой Эммы и комнатой, которую занимали братья отца, была большая кухня. Пока Эмма еще могла видеть, там стоял ее ткацкий станок, а потом его убрали и поставили на его место стол для игры в пинг-понг. Там стояла маленькая дровяная печка, но она плохо грела, и часто мы играли при минусовой температуре. Около печки могло поместиться только двое, и, чтобы не замерзнуть, приходилось много двигаться. Остальные сидели у Андерса и Нильса, играли в карты, слушали радио.

Это было мое зимнее пристанище, когда на улице было холодно. Обычно я залезала на чью-нибудь кровать и слушала все разговоры. Собирались местные юноши, еще неженатые, один или двое взрослых, ускользнувших из дома, и дворовые ребята. Нас пускали внутрь, если мы обещали не шуметь, я и не шумела, мне было просто интересно.

Я любила сидеть и вдыхать сигаретный дым, слушать журчанье голосов и наслаждаться густеющими сумерками и общим настроением. Мне нравилось «кружить» по комнате. Я «скользила» между людьми и «ныряла» под их кофты. Их разговоры звучали так странно, когда я «проскальзывала» мимо них. Казалось, что слова взмывали под самый потолок, и как будто я понимала их, жонглировала ими, и тотчас они приобретали совершенно новые для меня значения.

Кто-нибудь говорил: «Ирис, опять ты сидишь-мечтаешь, иди-ка ложись спать».

Я медленно плелась к двери.

В укромном уголке двора, по дороге в туалет, стоял большой клен. Его огромная ветвь на пять метров возвышалась над землей. Кто-то подвесил на ней веревочные качели. Забравшись на качели, можно было взлететь до самого неба. В животе было щекотно, голова кружилась. Это было удивительное чувство, опьяняющее.

Весь нижний этаж большого дома занимала кухня. Там обычно собиралась вся семья. Когда я была маленькая, на ней царила бабушка, мать отца. Она так нервничала, что не успеет приготовить еду вовремя, что начинала готовить раньше времени, и ей приходилось по нескольку часов держать ее нагретой. Бабушка была седая, раньше у нее были волосы цвета вороньего крыла. Когда она распускала их, они доходили до колен, но это можно было видеть только утром, когда она причесывалась. Она скручивала их в тугий пучок на затылке и от этого выглядела очень строгой. Ее глаза были как перечное зерно. Кто-то говорил, что она похожа на ведьму из сказки про Ганса и Гретель. У нее был резкий и пронзительный голос. Когда она кричала, он прорезал тебя насквозь.

Дети боялись ее. Мы думали, что у нее глаза на затылке: она замечала все, что бы мы ни делали. Малейшее отклонение от ее требований каралось тотчас же. Она была набожна, но притворно набожна. Самым важным для нее было, чтобы соседи не заметили, какие мы все слабоумные. Она все время стыдилась нас и считала, что и нам должно быть за себя стыдно. Единственное, что нам нравилось в ней, это то, что обманывать ее было одно удовольствие, если кому-то удавалось безнаказанно проделать это, тому засчитывалось сразу несколько очков.

Она обычно готовила картофельное пюре, ужасно вкусное. Это было единственное блюдо, которое она подавала свежим, все остальное она хранила до тех пор, пока оно не становилось несъедобным, и тогда это нужно было съесть в первую очередь, и только потом на тарелку клали более свежую еду. Отцу не нравилось, как она обращается с едой, и он решил, что, когда у него будет семья, в доме всегда будет вкусная свежая еда. Мать, отец, брат и я жили на втором этаже, пока бабушке не надоело вести такое большое хозяйство. Потом мы поменялись, так что дедушка и бабушка стали жить отдельно.

Когда я вела себя не так, как следовало — а это случалось довольно часто, — бабушка вызывала меня к себе, чтобы отчитать меня. Я любила это. Я стояла совершенно неподвижно и смотрела ей прямо в глаза, и, когда она начинала говорить, ее слова начинали кружиться по комнате. Они были разных цветов, не тех обычных цветов, которые встречаются повсюду, но цветов совершенно иного рода. Они светились и складывались в причудливые узоры. Все вокруг меня было словно живое, и все двигалось в дивном узоре. Я купалась в разноцветных искрах и кружилась в них. Они то и дело меняли форму, и было приятно плыть в этом потоке. Потом я чувствовала, что кто-то щиплет меня за руку, и снова оказывалась рядом с бабушкой: «...пропащий ты ребенок, ты даже не слушаешь, когда тебе говорят!»

Бабушка казалась разгневанной, а я смотрела в пол и ждала.

«Ступай сейчас же вниз, к себе», — говорила она, и я осторожно спускалась по лестнице. Уже во дворе меня отпускало, и я кричала, кричала от безумного восторга.

Дедушка был добрейшим из людей. Он любил прохаживаться в одиночестве и напевать вполголоса какую-нибудь мелодию. Все знали, что он был совершенно безответственным человеком, и если бы не бабушка, он был бы нищим бродягой. Бабушка следила за всеми, особенно за дедушкой. Рассказывали, что дедушка однажды пошел на рынок, чтобы продать корову, но у него совершенно не было практической жилки, и его, конечно, «надули». Обнаружив обман, он напился и явился домой только на следующий день без денег и без коровы. После этого случая бабушка взяла хозяйство в свои руки.

Дедушка любил копать в саду. Когда он рыхлил почву во дворе граблями, я выбегала из дома, выделывала смешные па на садовой дорожке. Он приходил и выравнивал гравий. У него получалось очень красиво, и больше не полагалось ходить по гравию. Потому что все должно быть красиво: вдруг кто-нибудь заглянет к нам.

Нам не разрешали срывать в саду фрукты, особенно сливы. Если только они не падали на голову. Но дедушка как бы невзначай ударял по дереву граблями, масса плодов обрушивалась на нас, и он, как ни в чем не бывало, собирал их в карман своих огромных штанов. Потом он убегал за дом и созывал нас, детей, и нам доставались сливы. «Берегитесь, чтобы бабушка не заметила, а то мне несдобровать».

Все «береглись», иначе было не избежать пронзительного бабушкиного крика.

«Де-е-е-д!!!», — она кричала, чтобы учинить ему допрос, и чем дольше он не появлялся, тем хуже было для него. Я забирала свои сливы и уходила к густо заросшей зеленым беседке, где никто не мог видеть меня. Это была небольшая хижина, настолько заросшая, что сквозь крышу не проникали даже капли дождя. Я садилась на сухое сено, подбирала под себя край платья и, устроившись поудобнее, глазела на ветку, которая покачивалась из стороны в сторону, и вскоре я «исчезала», взмывая вверх до кроны дерева и в самое небо.

За кухней располагалась спальня, в ней было радио. Я любила его. Можно было слушать музыку и танцевать, иногда в комнате, а иногда на улице, когда никто не видит. Часто вечерами мы сидели впотьмах и слушали радиотеатр. Старались погасить все лампы,

экономили электричество, и все должны были затаиться, чтобы не нарушить сосредоточенную тишину.

Субботними вечерами вся семья собиралась у радио — шла длинная передача, которая называлась «Музыкальная шкатулка». В ней участвовало много известных певцов, они пели песни и играли на разных инструментах. Я часто сидела на полу, забравшись в уголок под радиоприемником, и радовалась. Мне было ужасно весело вслушиваться во все звуки, которые лились оттуда. Иногда они превращались во множество ярких вихрей, которые кружились в темноте, и лица людей, которые сидели в комнате, начинали светиться. Глаза их как будто излучали необыкновенный свет, а звуки, которые они издавали, когда смеялись, светились по-другому, и вокруг них, и между ними, подобно шелковым нитям, кружились световые вихри. Я плыла к этому свету и вглядывалась в него. Было так интересно наблюдать, как все без конца менялось, несмотря на то, что все люди сидели на своих местах. Иногда картины становились страшными, я вздрагивала, внезапно передача заканчивалась, и все выходило в кухню пить кофе.

По вторникам, поздно вечером, по радио передавали интересные спектакли. Улоф Тунберг читал «Человека в черном». У него был такой отвратительный голос, что от него все внутри содрогалось. Собственно говоря, детям не разрешали слушать эту передачу, потому что после этого им снились кошмары про всякие ужасы и убийства, которые там происходили, но никто не уводил их спать. Когда мне становилось совсем страшно, я обычно переставала слушать, я представляла себе, что переносюсь в невидимую комнату. Там было все видно и слышно, но мне ни капельки не было страшно, потому что там все преображалось. Было так сладко знать, что ты вроде бы боишься, а все-таки не боишься. Я смотрела, на себя, притулившуюся на скамейке у дверей спальни в сумерках, и видела, что я совершенно спокойна, потому что все поглощены передачей. Самое лучшее, когда вокруг полно людей, а человек при этом может оставаться самим собой.

За спальней находился зал, где на обоях был рисунок с медальонами и красивый деревянный пол. На Рождество и другие праздники он превращался в парадный зал. Но обычно это была спальня. Там стоял наш детский шкаф-кровать, который открывался только ночью.

В шкаф были вмонтированы три кровати, они складывались как гармошка. Вечером они раскладывались, и я, брат и еще один мальчик ложились спать. На другой стене шкаф-кровать висел повыше. Он раскладывался вниз, и там помещалось еще два человека. Третий шкаф, тоже с двумя кроватями, укрепленными вдоль стены, использовался только в летнее время и на каникулах, когда у нас жили два подростка.

Каждый раз у нас складывались разные сочетания из гостивших в доме людей. Одно время у нас жил симпатичный мужчина-калека, он научился чинить обувь и стал сапожником. Он открыл практику в комнате, где жили рабочие с фермы, и жил у нас. Потом он съехал от нас, купил дом, и все у него наладилось. Какое-то время у нас жили брат и сестра бабушки по отцу. Брат был психически болен, и сестра ухаживала за ним. Потом они купили дом в городе и тоже съехали.

Летом на все каникулы из города приезжали кузины, которые проводили у нас все лето, потому что их родители были бедны и не могли себе позволить вывезти детей из города. Мы все спали в зале, а если кому-нибудь удавалось договориться с одним из дядей пожить в его комнате, это была большая удача, потому что по вечерам никто не заставлял их ложиться спать.

Еще в доме была наружная комната. Это была комната пастора. Она использовалась, когда он приходил в нашу церковь и служил мессу. Наш приход был таким маленьким, что его соединили с двумя другими, поэтому у нас не было своего пастора. Его комната была торжественной и темной. Большая темно-коричневая дубовая мебель, бархатные гардины и темно-бежевые обои. Внутри был небольшой алтарь с белым вышитым платком. Там стоял графин с водой, стакан, медные подсвечники, лежала открытая Библия и деревянный крест. В комнате пастора был телефон, и им пользовались домочадцы, но, только в случае

необходимости. В кухне были часы, которые трещали, когда били, и у меня каждый раз начиналось сердцебиение. Если кто-нибудь говорил: «Ирис, пойди, возьми трубку», по спине пробегали мурашки, и я чувствовала, как будто огромная черная туча обволакивала меня. Если мне везло, то это было сообщение для церковного сторожа. Мне нравилось бегать к нему и передавать ему разные сообщения.

Я боялась старшего пастора, его звали Карлссон, к нему нужно было обращаться «пастор Карлссон». Он был похож на летучую мышь в своем черном пальто, с суровым выражением лица, которое казалось еще более суровым из-за его огромного носа. Он был одноруким — руку отняли, потому что у него был рак. Его голос был мрачным и суровым, каждый раз, когда он что-то говорил, казалось, будто он пророчит конец света. Он казался мне огромным: когда он входил в дверь, он пригибал голову, как будто кланялся. Хотя я боялась его, меня тянуло к нему. Когда он бывал у нас, я часто болталась поблизости. Тихо, как мышь, я прокрадывалась в комнату и садилась в углу. Он так привык ко мне, что иногда не замечал, что я рядом. Я сидела тихо и смотрела, как он читал молитвы и готовился к мессе. Он никогда не выгонял меня, даже когда я заходила в ризницу.

Иногда я проникала в его комнату, забиралась под стол и смотрела на алтарь. Мне было интересно, что за раскрытая книга лежит там, но я не умела читать. «Что там написано, скажите, что там написано», — вертелось у меня в голове. Я «ныряла» в книгу и вылезала с другой стороны. Там был иной, удивительный мир, в котором жили странно одетые люди и стояли необычные дома. Это была незнакомая страна, вся земля была покрыта песком. Люди брели мимо и не замечали меня. Только я могла их видеть, а они меня — нет. Я вспомнила бабушкины рассказы о Боге. Я видела лестницу в небеса, она была похожа на нитку жемчуга, распространяющую слабый свет, и ей не было конца. Я видела длинную вереницу людей и странного человека, который шел впереди. Они шли по направлению к городу, в котором уже было полно людей. Я догадалась: это был Иисус, идущий в Иерусалим. Когда я посмотрела вверх, я увидела крупного человека, сидящего на троне. Казалось, что все сделано из льда, даже мой дядя, хотя он двигался. Лед переливался чудесными красками. Это было похоже на сказку. Бог был похож на короля Буре из книжки сказок, которая у нас была, но в действительности все было намного прекрасней.

«Дзинь...», — зазвонил телефон на стене, сердце заколотилось, и я испуганно выглянула из-под стола. Я услышала шаги, заползла обратно в темноту и затаила дыхание. Кто-то подошел к телефону и снял трубку. Я ждала, пока положат трубку на рычаг и шаги затихнут. Тогда я осмелилась высунуться из-под стола, в мгновение ока выскочила оттуда и помчалась прочь.

Свен был не похож на других братьев. Он заболел астмой в младенчестве, и все думали, что он не доживет до года. Он не умер, но дышал с таким трудом, что становилось ясно: он долго не протянет. Время шло, и он, и все остальные ждали, что он вот-вот умрет. Когда он стал подростком, у него нашли сколиоз, на спине вырос большой безобразный горб, он стал стеснительным и замкнутым и все ждал, когда же за ним придет смерть.

Отец очень любил его. Отец был на семь лет моложе Свена, и когда отцу было три года, Свен опять слег. У него было синее лицо, он еле дышал. Отец залезал к нему в кровать и сидел там как прикованный. Свен не хотел, чтобы отец сидел у него, но отец твердил: «Нет, а то ты будешь думать о смерти». Так рассказывал Свен. Он не мог умереть, пока этот упрямый мальчишка торчал у него в кровати. Отец не уходил, пока Свен не окреп и смог сам вставать с постели.

Свен сидел дома, когда его братья стали ходить на вечеринки. Он сидел один и ждал их возвращения. После того как отец прошел конфирмацию, он научился танцевать и стал учить Свена, брать его на вечеринки. Свен был очень стеснительным, он считал себя уродом. Кроме того, он не хотел знакомиться с девушками, потому что не хотел иметь детей, которые вскоре останутся сиротами. Отец танцевал хорошо и в своем юном возрасте приглашал танцевать девушек, которые были немного старше его. Отец подводил девушек к Свену, знакомил их с ним и отходил. Чаще всего бывало так, что Свен, преодолевая стеснительность, приглашал

девушку на танец и весело проводил время.

Когда отцу исполнилось шестнадцать лет, он купил себе мопед. Он позаботился о том, чтобы Свен тоже купил такой. Два старших брата уже успели купить себе мопеды, а Свен боялся, что у него случится астматический приступ, и так и не сел на мопед. Однажды отец захватил с собой Свена, и все четверо поехали в Уппсалу и обратно. Это было целое приключение. Свен не решался ночевать вне дома, тем более под открытым небом, но отец поставил палатку, выдал Свену спальник, чтобы у него от холода не случился приступ. Это была его первая в жизни дальняя поездка.

Моя будущая мать была батрачкой. У нее не было родителей, и она очень нуждалась. Ее мать умерла, когда девочке было два года, а отец, родом из Сконе, занимался выращиванием сахарной свеклы и разъезжал по разным местам. Когда жена умерла, он бросил детей на произвол судьбы. Моя бабушка болела туберкулезом и передала его моей матери при рождении. У матери был туберкулез кожи лица и шеи.

С первых дней после смерти бабушки мать жила в окрестных семьях, а потом стала жить у своего деда, отца матери. Он жил с двадцатилетней дочерью. Дед пошел в «коммуну» и умолил, чтобы девочку поместили в больницу. По милости ему не отказали. Сначала ее лечили прижиганием в ближайшей больнице, но когда стало ясно, что это не помогает, ее послали в санаторий в Халланде. Там она провела до шести лет, и когда за ней приехали, чтобы забрать ее домой, она убежала в лес и спряталась, потому что людей, которые приехали за ней, она не знала.

Она все-таки попала домой, дикая и запуганная. Ей уже пора было в школу. Ей повезло — дома была Эмма. У нее мать находила утешение, но Эмма работала, гнула спину с раннего утра до позднего вечера в барской усадьбе, так что мать только ночью могла спать у нее: все другие боялись маминой болезни, боялись заразиться. Но Эмма говорила, что Бог желает ей добра, и с ней ничего не случится, если девочка будет спать в ее кровати. Эмма не заразилась.

Школа была для матери кошмаром. Она ходила туда и ничего не знала. Со своими братьями и сестрами она познакомилась только после того, как вышла из санатория. Они стыдились ее, потому что у нее был большой шрам и рана на лице. Они стали дразнить ее, но тут вмешался отец. Он был на два года старше их, мал ростом, однако, никого не боялся. Он оберегал ее от нападок, гонялся за обидчиками со своим деревянным башмаком. Он угрожал им, что если кто-то тронет хоть один волос на ее голове, тому несдобровать. Никто больше не приставал к матери, она нашла себе защитника на время перемен.

Тянулись школьные годы. Отец опекал Свена дома, а мать в школе, еще он работал в саду и общался, сколько удавалось, со своим дедом. Он много узнал об изнанке жизни и радостях, которые жизнь приносит. Он много размышлял, почему люди делают зло, когда так просто быть добрым, но не находил ответа.

Когда мать прошла конфирмацию, отец начал за ней ухаживать, они стали встречаться, чтобы пожениться, когда придет время. Бабушка, дедушка и старшие братья считали, что это ужасно. Ведь мать была батрачкой, у нее не было ни отца, ни матери, вдобавок она была болезненной, хилой и была неподходящей партией для отца, крестьянского парня. Ему надо было подыскать более удачную партию. Он отвечал им, что любит именно ее, и именно с ней хочет прожить жизнь, и им нужно смириться с этим. Бабушка угрожала ему, говорила: «Это позор — жить с ней под одной крышей». Он только отвечал: «И куда же вы денетесь в таком случае?» На этом разговор заканчивался.

Отец был «себе на уме», как говорила бабушка. Когда пришло время пройти конфирмацию, он обнаружил, что не верит в Бога. Он читал Библию и внимательно слушал проповеди священника, задавал назойливые вопросы, но так и не уверовал. Он не мог взять в толк: если Бог существует, почему он не делает так, чтобы люди не страдали. Если бы Бог был, Он бы знал природу человека и не стал бы взращивать древо познания в Эдеме. К тому же жить в раю должно быть ужасно скучно: у человека нет никаких проблем, ему все ясно. Кроме того, такой Бог не соответствует Библии, потому что это страшное, мелочное и жестокое существо нельзя считать благим, всемогущим Богом. Идеал должен был быть

лучше, чем обычные, грубые люди.

Он не хотел проходить конфирмацию, но бабушка боялась, что отец опозорит всю семью, что после смерти она навечно угодит в ад за то, что у нее сын отщепенец. Тогда он сказал, что может пройти конфирмацию, чтобы не опозорить ее и угодить Небесам. Так он и поступил. Он получил строгий наказ: никогда в жизни не говорить, что не верит в Бога, он просто не стал учить Символ веры и все. Если его спрашивали, он отвечал, что верит больше в теорию эволюции, чем в Бога, и часто говорил: «Я не имею ничего против Бога, но его представители на земле не внушают мне доверия».

Однажды к нам зашли свидетели Иеговы, чтобы спасти его душу. Он собирался на скотный двор и стоял у двери, они тут же стали проповедовать. Он сказал, что для него их проповедь не имеет смысла, потому что он потерял веру в Библию. Он еще сказал, что от дома рукой подать до церкви, что если он захочет, он может ходить туда хоть каждый день. Они отвечали: «Но вы ведь не ходите туда каждый день?» Он сказал: «Хожу звонить в колокола». Тогда они ушли.

Кроме постоянных домочадцев — десяти-двенадцати человек — количество людей в доме менялось: умирали старики, рождались дети. Жили случайные люди, бывали родственники и знакомые родственников, и иногда они платили за постой.

На эти деньги покупались велосипеды и другие предметы роскоши. Приезжали на лето дети из города, жил подросток, убежавший из дома, был психически больной, который не мог сам себя обслуживать, был инвалид, какая-то пара, которой негде было жить, какая-то девочка, которая «неприлично» вела себя с детьми и ее выгнали из дома. Бывало одновременно до двадцати трех человек. Не иссякал поток родственников матери. Они воспринимали визит к нам как увеселительную поездку, а, уезжая, захватывали с собой кусок мяса, немного яиц и молока, чтобы пополнить свои запасы.

Отец и мать поженились и поехали на велосипедах в свадебное путешествие в Сконе. На каких-то участках пути они садились с велосипедами на поезд, но большую часть пути все-таки проехали на велосипедах. Мать хотела встретиться со своим отцом. Она видела его один раз в жизни, когда ей было шестнадцать лет, около часа разговаривала с ним, потом он «сцепился» с ее дедом, они поссорились, и отец ушел. Она написала ему письмо и получила ответ, но больше ничего не слыхала о своем отце.

Когда они приехали туда, они встретили необычного, своенравного человека, у которого была масса странностей. Он жил один, как отшельник, и ни с кем не общался. Он батрачил у разных людей и так зарабатывал себе на жизнь. Он накинулся на маму по поводу ее внешности. Он оскорблял ее и рассказывал отвратительные истории о бабушке. Это было так ужасно, что мой отец сказал, что не следует больше оставаться у него, и через пару часов они поехали домой.

Потом дед написал письмо с извинениями, чтобы они вернулись обратно. Они приехали через год, но их ждал такой же прием. Дед набросился на маму, ее охватило отчаяние, а отец разъярился и ударил его. Тогда дед набросился на отца и стал бить его. Отец оттащил его в сторону, взял мать, и тотчас они уехали. Они не навещали деда до тех пор, пока мне не исполнилось двенадцать лет. Отец решил, что мы должны побыть у него хоть пару часов. Наша семья не оставляла его, потому что мать жалела его и надеялась на то, что он каким-то образом исправится. У него случилось кровоизлияние в мозг, он пролежал год в больнице и умер. Похороны я помню. Тогда мне было четырнадцать лет, и я только начала размышлять о своей жизни и жизни других людей.

Папа рассказывал мне, что мама считала себя неспособной нянчить детей, испытывать к ним материнские чувства, оттого что она сама лишилась своей матери, когда была малышкой, до шести лет росла в больнице, и с тех пор жила с одиноким стариком, своим дедом, до самого замужества.

Мать с отцом решили, что у них все равно будут дети и что отец будет заботиться о них, как только они родятся, так оно в общем и случилось. Мой старший брат, который родился первым, днем вел себя хорошо, а все ночи напролет кричал. Он хорошо засыпал, и какое-то

время спал, потом вдруг просыпался, вздрагивая, словно ему снились кошмары, и отчаянно кричал; он кричал и кричал, и был безутешен. Мама не могла его успокоить, и отец носил его на руках и убаюкивал, носил и убаюкивал. Когда брат немного подрос, он перестал так страшно кричать и стал спать; по словам отца, это было большое облегчение. Но зато он стал сильно тревожиться, как только мама отходила от него, пусть совсем недалеко, и проводил все время на кухне, где она хозяйничала.

Я родилась через пятнадцать месяцев после брата — я не была желанным ребенком. И мать, и отец опасались, что я буду точно так же безутешно кричать каждую ночь, и поэтому с тяжелым сердцем ожидали моего появления на свет. Отец все же надеялся, что родится девочка, и думал, что, может быть, это перевесит все прошлые трудности.

Когда мать разрешилась от бремени, ее поразила новая вспышка туберкулеза. Раньше ее периодически забирали в инфекционную клинику, и она не переносила этих больниц. К тому же теперь ее разлучили с отцом, и она до смерти боялась больничного персонала. Она чувствовала себя совершенно подавленной, когда они говорили ей хоть слово. Доктор сказал матери, что ребенка придется забрать у нее сразу после рождения, перевезти его в местную больницу и сделать ему прививку, чтобы он не заразился. Ей запретили видеться с моим братом, чтобы не заразить его, а отец ездил в местную больницу и сделал прививку себе и сыну. На папу снова обрушились критические высказывания. Мол, выбрал жену болящую, от которой в семье одни несчастья, но он не слушал. Он понимал, что их одолевает страх, страх перед опасной болезнью. Со временем страхи улеглись.

Я родилась в стерильной обстановке, и меня на такси отвезли в местную больницу, которая находилась в тринадцати милях от роддома. Там меня держали три дня после вакцинации, чтобы она наверняка подействовала. Потом меня отвезли обратно, и, по словам мамы, я «кричала как резаная». Ей это ужасно не нравилось, но совсем скоро я утихла, и все стало хорошо. С тех пор я стала пайнкой, как она говорила. Это значило, что я вообще не кричала и не обнаруживала никаких признаков того, что хоть сколько-нибудь нуждаюсь в ней.

Через несколько дней она вернулась домой, и все напряженно ждали, что я буду кричать по ночам. Я не кричала, но и не спала. Я лежала в своей люльке и казалась довольной всем на свете. Мой брат ужасно отреагировал на мамино возвращение домой. Он взял половую щетку и ударил меня по спине, а по отношению к матери повел себя еще хуже. Он лягался, кричал, кусался и вис на ней. Мама и папа всецело занялись им и были от всего сердца благодарны мне за то, что я была невероятно послушным и молчаливым ребенком, никогда не кричала, даже если у меня были мокрые пеленки или я хотела есть, долго лежала в одиночестве и бодрствовала ночью.

В первые три месяца жизни я ничем не отличалась от других детей. Мать кормила меня и меняла пеленки через каждые четыре часа, и все было спокойно вокруг меня. Однажды мой брат случайно схватился за край моей люльки и стал трясти меня. Моя рука угодила в ручку люльки, и пальцы застряли между стеной и краем люльки. Ногти посинели, но я не кричала. Это насторожило отца. Он сомневался, все ли в порядке с ребенком, который не кричит, когда ему делают больно.

В скором времени меня в нос ужалила пчела, у меня распухло все лицо, а глаза превратились в две маленькие щелочки, но я не кричала и, казалось, меня это не слишком беспокоило. Тогда-то отец понял, что мои реакции не вполне нормальны. Его это очень удивляло, но он не понимал, отчего это происходит. Он все чаще замечал, что со мной нельзя сохранять контакт, что ему не удастся произвольно войти со мной в контакт, но в какой-то миг я вдруг обращала на него внимание, и тогда он мог на минутку почувствовать контакт со мной, чтобы вскоре обнаружить, что я снова погрузилась в себя и до меня больше не достучаться. Мама же была просто в восторге от того, что ребенок не кричит — о таком она и не мечтала.

Отец — в основном возился со мной он — раздумывал, как привлечь ко мне всеобщий интерес, хотя я сама вовсе и не стремилась к этому. Он сшил заплечный мешок и в нем носил меня, сколько мог, особенно когда он ходил на скотный двор и доил своих коров. У него была

такая странная черта — он охотно разговаривал сам с собой, с животными и растениями, и со всем, что попадалось ему на глаза. Он считал это естественным — если ты не один, почему не поговорить.

Когда он носил меня на спине, он говорил обо всем, что приходило в голову, вслух. Не для того, чтобы я понимала, а потому, что я была рядом. У него был псориаз, и зимой ему тяжело приходилось — толстая корка покрывала все его тело под одеждой, и чтобы было не так больно, он всегда носил меня прямо на спине, то есть между мной и его телом не было ничего. Теперь я знаю, что это имело огромное значение для моего развития — голова к голове и его ненавязчивый разговор с самим собой.

В доме он соорудил гамак в проеме кухонной двери, так что все входящие и выходящие должны были проходить подо мной. Это означало, что все «гулили» и заговаривали со мной. Мне кажется, что отец приказал им так делать, хотя не пройти мимо меня они не могли. Когда я подросла, он повесил на том же месте качели, и я часами могла сидеть на них.

Папа таскал меня с собой во все мыслимые и немыслимые места, чтобы я, как он говорил, «не была отрезана от мира». Первые три года моей жизни это не представляло трудности, потому что тогда я не кричала и не требовала ничего. Он рассказывал, что я была похожа на угря, и уползала, как только кто-то обращался ко мне, или пытался потрогать меня, или взять на руки. Из моего рта струился непрекращающийся поток слов. Это была не осмысленная речь, а масса слов, чаще всего совершенно беспорядочная, с которыми я играла, выставляла их в ряд и ловко складывала, и, казалось, от души веселилась, потому что я почти беспрерывно хохотала.

Я пребывала в таком состоянии, которого никто не мог ни понять, ни разделить со мной. Изредка, на какую-то секунду, папа улавливал проблеск контакта, но по большей части я была где-то внутри себя, недостижимая для общения. Было такое впечатление, будто я не вполне присутствую в мире, будто я не совсем родилась.

Больше всего на свете папа любил коров. Он любил ухаживать за ними, он с радостью шел на скотный двор и доил своих коров. Их было двадцать три, и каждый год появлялись новые, а старых продавали или забивали на мясо. Больше всего ему нравилась равнинная красно-коричневая порода — с ними ему было легко и приятно.

Отец считал несправедливым, что человеку нужно обманывать коров, чтобы подоить их. Он хотел, чтобы они привыкали к тому, что он не теленок, которому нужно материнское молоко, и не машина, которая забирает молоко для удовлетворения потребности людей. Обычно человек обманывает корову: она не может одновременно есть и сдерживать молоко. Подвизывают ей хвост — тогда она начинает беспокоиться и дает молоко, или надевают на нее цепь, так что ей приходится балансировать на трех ногах, и она не может сдерживать молоко. Папа разговаривал с коровой, похлопывал по спине и удерживал ее внимание, пока она не отдавала молоко добровольно. Корова быстро понимала, что у нее нет выбора, что папа получит молоко в любом случае, но при этом ее никто не обманывает. У папы была мечта — иметь скотный двор, полный коров, с которыми он умел бы найти общий язык, чтобы они мирились с дойкой. Время от времени у него это получалось, и отец очень гордился своими достижениями.

Немного похоже папа думал обо мне. Он использовал каждый обеденный перерыв — летом на лужайке, а зимой на постели — он клал меня на небольшом расстоянии от себя так, чтобы мои глаза приходились напротив его глаз, и пытался привлечь мое внимание. Это было большое испытание для него: я смотрела прямо сквозь него, мимо него, словно тело его было пустым. У него возникали очень неприятные чувства. Он рассказывал, что иногда впадал в такую ярость, что ему хотелось шваркнуть меня об стену, иногда его охватывал такой ужас, ему казалось, что я раскрыла какую-то его тайну, страшную тайну, иногда его охватывало отчаяние. Казалось, я проникала в его чувства, хотя я в это время была очень далеко. В какие-то моменты я бывала там и видела его, и тогда он ликовал, но в следующий миг я опять исчезала. Он знал, что пройдет несколько часов, прежде чем ему удастся снова войти со мной в контакт.

Он никак не мог уразуметь, что со мной: с одной стороны, я вызывала у него очень сильные чувства, при этом отсутствуя в реальном мире, а с другой стороны, могла находиться в полном, нормальном контакте с ним, и при малейшем проявлении чувства с его стороны снова исчезала. Когда я была в контакте с ним, в это мгновение я казалась совершенно спокойной, безмятежной. Это обескураживало его. Он решил попробовать удержать контакт, хотела я того или нет, и это должно было происходить на его условиях, а не на моих, как случалось до сих пор.

Ему это удалось, когда мне было чуть больше трех лет, и тогда появился крик, пробудились боль и страх. Отец был рад, теперь он знал, что можно вступить со мной в контакт, но окружающие пугались. Лишь только кто-то дотрагивался до меня, смотрел на меня, делал что-то неожиданное, направлялся или обращался ко мне, я поднимала дикий вопль. Я кричала так постоянно, и они не переносили этого крика, который исключал всякое нормальное общение.

С трех до шести лет моя жизнь состояла из того, что я либо сидела в одиночестве, либо была в моем «состоянии» и играла дома или во дворе, еще папа занимал меня или заставлял кого-нибудь занимать меня. Папа хотел, насколько возможно, добиться того, чтобы кто-то поддерживал контакт со мной. Все неожиданное или то, что я переживала как вторжение, пугало меня, и я криком кричала. Утешить или остановить меня во время таких эпизодов было невозможно, только если я кому-то сильно мешала, меня хватили, уносили и ждали, пока это прекратится.

Все время, которое у него было, папа посвящал тому, чтобы научить меня элементарным вещам, которые я с трудом понимала. Он знал, что пытаться научить меня, когда я была в «состоянии», бессмысленно; я могла механически делать то, что он просил, но это не оставалось в памяти. Напротив, если он заставлял меня входить в его атмосферу, хорошее поведение иногда закреплялось и становилось постоянным. К сожалению, так бывало не каждый раз, но все же это было лучше, чем когда я вообще не шла на контакт. Ни одно поведение не было постоянным, оно исчезало и появлялось снова самым непостижимым образом.

Одеваться, умываться, ходить в туалет, чистить зубы, ложиться спать, есть и другие ежедневные ритуалы не имели для меня никакого смысла. Если никто не проявлял бы заботу обо мне, я сама бы никогда пальцем не пошевелила. Одежду я часто надевала наизнанку, потому что лицевая сторона была мягче изнаночной, и у меня начиналась «вспышка», если кто-то пытался помешать мне. Часто я срывала с себя всю одежду и бегала голой, даже по снегу зимой. Я любила воду и купалась в каждой луже. Папа рассказывал мне, что прежде чем в доильне появилось специальное оборудование, там был резервуар для охлаждения только что надоенного молока, и как только он отворачивался, я кидалась в него, даже если в нем была ледяная вода. Это продолжалось до десяти лет.

Еще у меня была привычка тащить в рот и облизывать все, что я видела. У отца был «Скурит» — сильное щелочное чистящее средство в картонной коробке, я просунула туда голову и стала лизать его, и сожгла себе всю слизистую рта. Две недели меня кормили только жидкой пищей, пока слизистая не зажила, но в какой-то момент я ухитрилась сделать то же самое и опять пару недель питалась жидкой пищей. После этого отец стал следить за тем, чтобы опасные жидкости и другие вещества хранились в недоступных для меня местах.

В холодный зимний день, в тридцатиградусный мороз, я облизала железные перила и приклеилась к ним языком и губами. Мама принесла теплую воду и лила на перила, пока губы не отлепились. Опять я повредила слизистую рта. Это случалось много раз в ту холодную зиму. Казалось, что я не страдала от этих ран и содранной кожи, и сдирала болячку, как только она начинала заживать, так что я почти все время ощущала привкус крови во рту. Периодически я раздирала кожу ногтями, чтобы добраться до крови и полизать ее. Каждый раз, когда у нас резали скот, то оставляли кровь, садились и по полчаса взбивали ее, чтобы она не свертывалась. Я всегда оказывалась поблизости, и мне удавалось слизнуть немного.

Иногда я набрасывалась на других, кусала или царапала их, и как только кровь

выступала на поверхность, я слизывала ее. Это никому не нравилось, папа приложил много сил, чтобы прекратить такое поведение, и, в конце концов, ему это удалось.

Я любила кусать малышей. Они орали, как резаные, этот звук мне нравился, и я не могла понять, почему нельзя этого делать. Вокруг становилось так прекрасно — дети орали, а еще воздух наполнялся чувствами, которые исходили от окружающих людей. Меня притягивали только сильные эмоции, и время от времени мне удавалось их вызывать. Оказалось, что я совершенно не могу рассчитать, предвидеть что-либо. Я не могла ничего запомнить или думать о нескольких разных вещах; когда происходили такие случаи, срабатывал условный рефлекс и я всегда удирала, стремительно, словно ласка. Существует бесконечное множество историй об этих «выходках», и сегодня это веселые истории, которые с удовольствием рассказывают свидетели моего детства.

В те годы, когда я начала кричать, папа заметил, что я не понимаю содержание речи нормальным образом, не осмысливаю ее. Субстантивные понятия я усваивала хорошо, если их не нужно было обобщать. Лампа — это именно та лампа, которая выглядит вот так, и никак иначе. Если кто-то говорил о лампе другого типа, ее для меня не существовало. Ее просто не было, пока кто-либо не прибавлял к этому слову что-либо, что отличало бы его от первого понятия, которое я усвоила, например, настольная лампа, настенная лампа, и т. д. Люди, способные к общению, в первые годы жизни ассоциируют лампу с ее функцией: то, что можно гасить и включать, называется лампа, но я не могла мыслить таким образом. Я не могла понять всю ту нематериальную информацию, которая присутствует в любой форме коммуникации, в которой обе стороны находятся на общем поле.

Для отца это было непостижимо: иногда он мог рассказывать мне очень сложные для понимания и запутанные вещи — не для того, чтобы я поняла его, а потому что он сам лучше понимал их, когда проговаривал их вслух. Позже он стал понимать, что я усваивала эти сложные вещи, но при этом не воспринимала простейших вещей, которые он говорил мне. Он говорил, что мной так же трудно управлять, как сном, чтобы он закончился так, как хочется.

Отец много размышлял о том, чего мне не хватает — в какой-то момент я прекрасно все понимала, а в следующее мгновение становилась совершенно иррациональной, и все, что мне говорили, бесследно проходило мимо меня. Казалось, что мозг отрывается от своей опоры, память испаряется или погружается в недоступные глубины. Было совершенно невозможно заставить меня понять и использовать слова «я», «ты», «мы».

Отец поставил в чулане зеркало в полный рост, становился рядом со мной и учил меня. Сначала я должна была стоять сбоку от зеркала, лицом к нему, и смотреть, как он говорил со своим отражением в зеркале и показывал пальцем на себя и говорил о себе: «Я». Потом он ставил меня перед зеркалом, и я должна была делать то же самое. Так продолжалось несколько лет, пока у меня не появилось ощущения того, что «Я» — это то, что каждый может сказать, говоря о себе самом, и что это каждый раз имеет разный смысл, в зависимости от того, кто произносит это слово. Мне было девять лет, когда в один прекрасный день я смогла более или менее удовлетворительно усвоить это понятие.

Самым тяжелым для окружающих меня людей было то, что за мной нужно было приглядывать, что нельзя было оставить меня одну — я просто исчезала, и тогда нужно было собирать людей на поиски. На меня нельзя было положиться, а поскольку у меня не было инстинкта самосохранения или нормальной реакции на боль, я легко могла попасть в ситуацию, опасную для жизни. Нельзя было верить ни одному моему слову. Иногда я могла осмысленно ответить на заданный мне вопрос, но часто бывало, что я отвечала невпопад. Меня пытались учить, что хорошо, и что плохо, что правда, что ложь, но я не могла связать эти понятия со своей жизнью. Бывало так, что я случайно отвечала правду, но это бывало так редко, что не принималось в расчет.

Пока была жива Эмма, это не представляло трудностей: она всегда хотела сидеть со мной, и я оставалась с ней, все время крутилась около нее, словно маленький гном. У нее, которая почти уже не видела и не слышала, было сколько угодно времени, и она рассказывала о себе и о своей жизни. Когда я не была с ней, меня окружал какой-то густой туман, и из-за

этого я была как бы совершенно одна, я не видела, не слышала и не чувствовала ничего, кроме проникавших сквозь него призраков, а иногда туман превращался в чудеснейшие картинки из волшебного фонаря. Это происходило на одном уровне, а на другом я видела, слышала и понимала гораздо больше, чем обычные люди, но, глядя на меня, этого нельзя было сказать, да и осознать это. внутри себя я не могла.

Внутри этого тумана было так спокойно, безопасно и чудесно, что я очень болезненно реагировала, когда кто-то пытался проникнуть сквозь него. Я испытывала очень противоречивое чувство — с одной стороны, неприятное, а с другой стороны, меня охватывал какой-то особенный покой, когда кто-либо проникал сквозь него. Это так трудно объяснить, что, когда меня спрашивают об этом, мне приходится объяснять снова и снова.

Эмма входила в мой туман, и туман обнимал нас обоих. Свет в тумане менялся от тускло-серого к блестящему серебристо-золотистому. Ее слова образовывали длинные струны, которые обвивались вокруг нас, и это было так красиво! Я много смеялась. Когда Эмма говорила, что я должна сесть на горшок и сходить «по-маленькому» и «по-большому», я слушалась ее. Я точно знала, чего она хотела от меня, и для меня было совершенно естественно выполнять то, что она просит. Еще ей удавалось мыть мне голову. Она клала меня на спину, чтобы моя голова приходилась над краем лохани, и я лежала неподвижно, как неживая. Она мыла мне голову, полоскала и расчесывала волосы, пока они не приобретали опрятный вид. Когда мать или кто-то другой мыл мне голову, я поднимала ужасный шум, я кричала и все время отбивалась, так что им приходилось держать меня, а потом должно было пройти несколько часов, прежде чем я переставала биться головой о дверцу шкафа, царапаться и искусывать в кровь губы.

Отец тоже часто входил в мой туман, и тогда свет приобретал другой оттенок. С ним было немного по-другому, он прямо подходил ко мне, и иногда все было так, как и должно быть, но иногда вокруг него крутилась масса странных, причудливых завитушек, мне становилось как-то не по себе, и тогда мне приходилось «убирать помехи», и я делала это всеми доступными мне способами: махала руками, вертела головой, крутилась вокруг своей оси, выпускала изо рта нескончаемый поток слов и т. п.

Папа установил, что когда я была с Эммой, моей проблемы как бы и не существовало. С ней я как будто все слышала и понимала, делала, что она говорит, у меня не было стереотипных движений, и даже лицо у меня совершенно менялось. Только он входил в комнату, я преображалась, и все эти специфические реакции возвращались, но когда он наблюдал за мной через окно, когда его не было в комнате, я вела себя адекватно. Этого он никак не мог уяснить. Он понимал, что ни один известный ему диагноз мне не подходит. Он сознавал, что я во многих отношениях неадекватна, но не умственно отсталая и не психически больная; так что же тогда со мной? Да, он так и не понимал этого, пока я не выросла и не смогла объяснить ему, как организован мой внутренний мир. Временами ему начинало казаться, что я просто обиделась и не хочу идти на контакт, но иногда он ясно сознавал, что это не так. Он понимал, что гораздо приятнее и естественнее быть в контакте друг с другом, но это не зависит от меня, просто что-то со мной неладно.

Передо мной стояла дилемма: внутри моего «состояния» было так спокойно и безопасно, что мне всегда хотелось там оставаться, но иногда мне становилось ужасно одиноко, и этого я не могла вынести. Я наполняла его чем-нибудь, чтобы уйти от пустоты: я царапала, кусала себя, билась головой о стену и т. п. Я причиняла себе боль, и тогда пустота уходила, и я могла смеяться.

Когда я входила в мое «состояние», мне было так спокойно. Но мне, как и всем людям, нужны были отношения с другими людьми, а это было пугающим, трудным, причиняло мне такую боль, что внутри меня все разрывалось на части каждый раз, когда кто-то пытался войти со мной в контакт.

Папа решил, что я, несмотря на мою дикость, должна, насколько это возможно, участвовать в жизни окружающих меня людей. Он понимал, что моя социализация зависела от того, насколько окружающие могли — любыми способами, которые были в их

распоряжении, — развивать у меня интерес к людям и их мыслям.

Однажды, в возрасте шести лет я, как обычно, стала кричать, вероятно, оттого, что в кухне совершенно неожиданно появился незнакомый человек и обратился ко мне, может быть, просто сказал «Здравствуй», и тут моя боль вспыхнула во мне, а потом случилось нечто удивительное — человек закричал изо всей мочи: «Эй, девчонка, что ты орешь, я же тебя не режу!» Я вдруг замолчала, туман рассеялся, я стояла совершенно спокойно и видела, что все вокруг изменилось. Как будто у меня открылись глаза.

Моя беспорядочная и кишащая людьми жизнь имела одну особенность: никто не позволял себе впадать в зависимость от моих потребностей, мой пустой мир, мое поведение и мои «вспышки» не управляли ими. Все время происходило что-то новое, приходили новые люди, каждый раз мне давали разные указания и т. п. Моя болезнь не влияла на жизнь семьи в такой степени, как это обычно бывает в маленьких семьях, где есть неконтактные люди.

После того случая мои ежедневные крики вдруг прекратились, и лишь иногда возвращались на короткое время в тяжелых для меня ситуациях. Для всех домочадцев это было большим облегчением, я стала более управляемой в том, что касается хождения в туалет, умывания и причесывания. Я могла теперь находиться в обществе других людей, просто тихо стоять и позволять ситуации развиваться так, как хотят другие. Я стала легче приспосабливаться и реже доставляла беспокойство окружающим. Иногда я могла что-то сказать к месту, но в основном я витала в облаках и из моих слов ничего нельзя было понять. Это было похоже на журчание ручейка или пересыпание камешков.

Я не очень интересовалась людьми. Мой мир был населен всем, что только есть на свете: столами, стульями, растениями, животными, людьми, но меня занимали только обстоятельства, в которых я жила. Люди были более тягостными, чем животные и всякие вещи, потому что они все время менялись и хотели от меня чего-то непонятного, того, что причиняло мне боль или вызывало беспокойство.

Папа продолжал учить меня жизни: он то занимался упражнениями с зеркалом, то рассказывал мне что-либо или заставлял меня удерживать внимание, слушая радио, показывал мне все, с чем он сталкивался, разрешал мне писать красками и рисовать карандашом. Особенно белым мелом на грифельной доске. Правда, и тут не обходилось без проблем: я часто засовывала мел в рот и съедала, потом я начинала хрипеть и даже теряла голос почти на целый день.

Когда мы с отцом оставались одни, я становилась все более контактной, и он замечал, что я продвинулась в мышлении. Он также заметил, что вокруг меня стали происходить определенные вещи. Когда какая-нибудь корова телилась, и теленок выглядел безжизненным и больным, он ставил его в маленькое стойло и усаживал меня так, чтобы голова теленка лежала у меня на коленях. Я играла с теленком, и в какой-то момент он оживал и начинал лакать молозиво.

Я показывала пальцем на телят, которые совсем не выглядели слабыми, и говорила: «Прочь, прочь», а потом получалось так, что вскоре они умирали, что в них обнаруживался какой-то незаметный глазу изъян. Отец замечал, что я всегда знала, какому теленку угрожала опасность, и постепенно начал использовать мое знание и забивал тех телят, на которых я указывала, и у нас появлялась возможность употреблять мясо, тогда как умершего теленка можно было только закопать. Иногда соседи приглашали меня или папу посидеть с их телятами, когда они болели.

Моему брату исполнилось семь лет, и ему пора было идти в школу. Он боялся школы, и его рвало каждое утро, на нем лица не было. Отец провожал его и обыкновенно брал меня с собой. Он сидел с моим братом изо дня в день, но брату не становилось лучше. Отец понимал, что так продолжаться не может, потому что была осень, пора уборки урожая; он брал стул, сажал меня позади брата и говорил ему: «Ну вот, теперь с тобой будет Ирис и тебе не нужно больше беспокоиться, когда я буду уходить домой». Брат говорил: «Нет, не нужно» и спокойно сидел в школе.

Полгода я сидела на стуле позади брата и участвовала в самом фантастическом

спектакле в моей жизни. Никто не подходил ко мне и не заговаривал со мной, я сидела там для того, чтобы мой брат был спокоен. Я разглядывала красивые картины, висевшие на стенах, я слышала множество поющих голосов, по комнате кружились замечательно красивые цветные слова. Можно было выходить из комнаты, когда звонили маленькие часы, а если ты уже вышел из класса, тогда по звонку нужно было возвращаться в класс. На школьном дворе было много звуков и беготни, и весь мой мир становился наполненным и содержательным. Голос той, которую называли «фрекен», перекрывал все остальные, и в моей голове рождались фантастические истории, я могла играть с ними или внутри них, в моем собственном мире. Причудливые новые слова излучали свет, имели цвет и форму, я могла играть с ними внутри себя.

К сожалению, это время закончилось. После рождественских каникул брат стал ходить в школу один, а мне оставалось ждать, когда мне самой придет время ходить в школу. Меня протестировали, чтобы определить, готова я к школе или нет.

Выяснилось, что я не ответила, как следует ни на один вопрос. Папа сказал, что он может заставить меня сделать все задания, которые мне предлагали. Но у него ничего не вышло. Я должна была делать задания на условиях других, иначе это мне не засчитывалось; на этом основании меня признали незрелой и недоразвитой.

Той весной 1952 года у меня развилось состояние, которое можно назвать депрессией. Может быть, это произошло потому, что мне больше не разрешали сидеть в школе. Я деградировала: снова начала писаться, как раньше, заметно хуже стала отвечать на вопросы, снова появились стереотипные движения, я махала руками и вертела головой, пускала слюни и утратила навык одевания. Папа был обеспокоен, но решил больше ухаживать за мной, и продолжал заниматься со мной до самого лета. Потом он сделал перерыв. Меня снова окружила компания из двадцати человек, прежде всего брат и все его товарищи. Прежние навыки вернулись ко мне, я стала ходить в туалет, умываться и одеваться без проблем.

В то лето, рассказывал отец, он очень радовался тому, что ему становилось все легче и легче налаживать со мной контакт, и я не так часто и не так быстро погружалась в свое обычное «состояние». Отец радовался тому, что осенью я должна была пойти в школу и очень хотел, чтобы я смогла находиться там.

Я пошла в школу, но это было совершенно не похоже на то, что было раньше. Теперь я должна была сидеть на скамье и выполнять задания. У меня ничего не получалось. В моих мечтах я сидела на стуле в стороне от других детей, но теперь все было по-другому, фрекен сердилась и думала, что я небрежна, что я не умею сосредотачиваться, что я бессовестная и т. п. Она все время жаловалась на меня отцу, наконец, его вызвали к директору. Меня хотели перевести в специализированную школу, но отец не согласился. Он хорошо понимал, что если я попаду в незнакомую среду с незнакомыми детьми и взрослыми, я вообще могу «сойти с рельсов». Он не считал вселенской катастрофой, что я не могу как следует учиться в школе. Когда его спрашивали, что из меня будет, он отвечал: «Что будет, то будет, будет такой, как есть. Это неважно. На крестьянском дворе она всегда будет нужна — чистить картошку или делать что-то еще, кем будет, тем и будет».

Когда настаивали на том, что меня нужно перевести в специализированную школу, отец говорил: «Есть закон о школе, в котором говорится, что дети должны ходить в школу, но в этом законе не говорится, чему они должны научиться. Значит, ребенок может ходить в обычную школу или присылайте учителя на дом. Она не может находиться в незнакомой обстановке среди незнакомых людей, это ей вредит». Так я осталась в обычной школе, хотя за время обучения в неполной средней школе я так и не научилась сносно читать и писать.

С первого по четвертый класс учительницы не понимали, в чем дело, казалось, будто я испытывала их терпение. Получалось, что, если я не научилась элементарным вещам, значит, они никчемные люди. Это означало, что я постоянно подвергалась давлению, которому мне нечего было противопоставить. Мой брат читал мне вслух все домашние задания, пока я не выучивала их наизусть, но я не понимала содержания. Он писал, а я списывала, так что мои тетради не были пустыми. Дома было легче, чем в школе, потому что там мне почти все время

приходилось притворяться.

Таким образом я перешла в пятый класс и нашла замечательного учителя. Он сказал себе, что не понимает моей дислексии и неспособности отвечать на вопросы, и решил сделать все возможное, чтобы научить меня всему этому. Я сидела на передней скамье, а он стоял, наклонившись ко мне, и объяснял все еще раз, специально для меня. Написание сочинения проходило так: я писала много букв, которые мы с ним могли прочесть, потом я стояла сбоку от его учительского места и описывала все, что вижу, он записывал, а потом я списывала. Тогда он засчитывал мое участие, и мне можно было поставить отметку. Еще был такой вид обучения: мы сидели в комнате, где хранился школьный инвентарь, и он задавал мне один и тот же вопрос, каждый раз формулируя его по-разному, до тех пор, пока я, наконец, не понимала и говорила что-то похожее на ответ, он записывал все, что я говорю, и это служило основанием для выставления оценки. За два года, что я проучилась у этого учителя, я многому научилась, хотя я не могла оправдать его ожиданий. Много раз бывало так, что, начиная с первых слов, которые он произносил на уроке, я, как попугай, повторяла все, что он говорил. Он не мог понять, что со мной происходит. С одной стороны, у меня была очень хорошая память, я могла сообщить ему о мельчайших подробностях, которые другие сразу забывали, а с другой стороны, я казалась совершенно тупой, не могла ответить на простейший вопрос. Это не укладывалось у него в голове.

В эти годы я сделала для себя великое открытие: я первый раз в жизни поняла, что такое смерть, что люди уходят и не возвращаются. Для меня это было не так. Все умершие, которых я знала при жизни, осязательно присутствовали в моем внетелесном «состоянии». Я сидела на церковной ограде у дома и думала о том, что все уверены, что все знают о жизни и о себе и при этом не понимают, что происходит после смерти, значит, я должна остаться в этом мире, чтобы разъяснить это людям. Я считала идиотизмом смеяться над недостатками и заблуждениями других, когда все равно всем суждено умереть.

Постепенно я стала понимать, что я уже снаружи и не могу оставаться в «состоянии», даже если бы захотела. Моя направленность уже определилась, любопытство по отношению к другим людям и к общению, отношениям, контактам уже овладело мной, и я не могла отбросить это. Это был экзистенциальный внутренний выбор, и я чувствовала что-то совершенно новое в своем теле, когда я «выходила наружу».

Последний год в школе был трудным. Старший учитель, который у нас преподавал, набрасывался на меня и свирепел, как только я попадалась ему на глаза. Он часто выгонял меня из класса, и я должна была сидеть в гардеробе. Он считал, что я глупа и бестолкова, и что я должна знать свое место и сидеть тихо. Он также подверг сомнению отметки предыдущего учителя и считал, что у меня вообще не может быть отметок. Но каждый учитель имеет право выставить свою отметку, и он не мог придумать, как выставить мне более низкую отметку, это бы означало, что он хуже предыдущего учителя и не может заставить меня выполнить то, что удавалось его коллеге.

Вскоре у него защемило грыжу, и скорая помощь забрала его в больницу. На замену в класс прислали другого учителя, только что закончившего институт. Он понял, что у меня тяжелая форма дислексии, и ему было необычайно трудно учить меня. Он считал, что я веду себя очень шумно, он ставил меня лицом к стене и говорил, что я не должна мешать ему вести урок, и, если я хочу, он может научить меня писать и считать. Он понимал, что не успеет научить меня за то короткое время, что он заменял заболевшего учителя, а это в лучшем случае продолжалось бы два месяца, потому что у старшего учителя случился приступ аппендицита, чему я была очень рада. Он говорил, что будет вести класс умственно отсталых детей неподалеку от школы. Это было в километре от нашего дома, так что я могла приходить и получать домашние задания два раза в неделю. Почти два года я ходила к нему, получала задания и делала упражнения, научилась читать и писать, конечно моя дислексия никуда не делась, но я делала задания вполне сносно. Что было странно на его уроках, так это его отношение к нам. Он говорил: «При всем уважении к вам, мне все равно, научитесь вы читать и писать или нет. Я могу дать вам знания, научить вас учиться, но работать будете вы.

Научитесь вы или нет, это ваше дело. У меня нет никаких соображений престижа. Я делаю это, потому что у меня есть время, и мне это нравится, да... а все остальное — это уже ваша головная боль».

С ним мне было совершенно спокойно. Он не бросался на меня, и все мои неприятные чувства и мои трудности просто улетучились. Я получала задание — каждый день прочитывать двести слов из любой книги или газеты. Брат отсчитывал двести слов в ежедневной газете, и я прочитывала их. Сначала я читала по буквам, чтобы видеть все буквы в слове, потом читала по складам, а потом целые фразы. Когда я на следующий день приходила к нему, не я читала ему, а он читал мне то, что я должна была прочитать к этому дню, а потом я своими словами пересказывала содержание. Это было трудно, это приносило мне невыносимую боль, меня охватывало отчаяние — я лезла на стену, а он просто сидел и ждал, в это время проверяя тетради других учеников. Сначала я бессвязно лепетала, и в моем рассказе было очень мало смысла, но он не довольствовался этим. Я должна была идти домой, перечитать все сначала и продумать, что я буду рассказывать. Я не должна была пересказывать текст дословно, нужно было передать смысл своими словами. Полгода я училась придерживаться содержания, а не придумывать, не прибавлять лишнего и не пропускать важные моменты, и уж тем более не сочинять всю историю с начала до конца.

С письмом получалось то же самое. Он давал мне задание написать двести слов о том, что произошло за день. Я должна была не списывать эти слова, а брать из головы. Я не могла понять, как это делать, о чем писать, как нужно придумывать. «Найди себе подружку по переписке и пиши ей о том, что происходит вокруг», — советовал он.

Я пошла домой и нашла тридцать друзей по переписке, чтобы писать по одному письму в день разным людям, и никого не утомить. В первом письме я просила, чтобы в ответном письме мне задавали много вопросов, на которые я могла бы ответить. Одни вообще не ответили на мое письмо, а с другими переписка продолжалась много лет. Это не остановило меня. Даже те, кто не ответил на мое письмо, получали по одному письму в месяц в течение двух лет. Одному Богу известно, как они разбирали мои каракули с ошибками, неправильно построенные предложения, не связанные друг с другом. Однако большинство моих корреспондентов считало, что мои письма вполне можно читать, как они потом говорили мне. Учитель говорил, что научиться читать по буквам или правильно писать — не самое главное для меня; было необходимо, чтобы я привыкла к чтению и письму, чтобы потом я смогла начать учиться «как следует».

Прошло десять лет, прежде чем я отважилась снова пойти в школу и использовать те знания, которые давал мне учитель. Я упражнялась эти десять лет каждый день, но все же я очень плохо читала и писала. Благодаря стечению обстоятельств мне попала учительница, которая была готова помочь мне в том, в чем я нуждалась, чтобы идти по жизни дальше.

Через полгода после окончания школы я устроилась ученицей в дамскую парикмахерскую. Для меня это было идеальное место. Я накручивала волосы на бигуди и несколько лет наблюдала за работой мастеров, прежде чем попробовала сама, для меня это был идеальный способ учиться. Обо всем остальном, что должен делать ученик, позаботилась мама, она приходила по вечерам, чтобы помочь мне, и писала шпаргалки, чтобы я смотрела на них и пыталась вспомнить, что и как мне нужно делать.

Воспоминания не всплывали автоматически, и мысли о том, что нужно делать, не приходили в голову, я просто стояла, как идиотка, смотрела перед собой и ничего не понимала. К тому времени я выработала массу стратегий, чтобы обойти эту проблему, и мне все чаще удавалось справиться с ней. Папа и мама хорошо знали о моих трудностях, они помогали мне, чтобы не было видно, что со мной что-то не так. Например, мама брала свою лучшую подружку и приходила ко мне в парикмахерскую раз в месяц по воскресеньям и убиралась там.

В обязанности учеников входило поддержание порядка в помещении, чтобы было чисто и убрано, мама знала, что я не понимаю, чисто там или грязно, я просто делала то, что мне приказывали, но не могла судить о результате. Они с подружкой снимали паутину в углах, мыли

полы, стулья, зеркала, мыли все окна. Они стирали полотенца и щетки. После них все блестело, как в операционной. Они шутили, говорили, что мне надо научиться убираться именно так, пока не станет так чисто, как в операционной. Через два года у меня появилось некоторое представление о том, что имеется в виду, когда после уборки говорят «чисто».

Моя начальница знала, что я убираюсь по воскресеньям, но она не знала, что это мама с подругой. Однажды она проходила мимо и зашла пригласить меня на чашечку кофе, она очень удивилась, но никому ничего не сказала.

Еще жизнь состояла из попыток социализироваться. Я пыталась, как это обычно бывает, гулять с девочками, с которыми я вместе росла, встречаться с мальчиками, ходить в кино, на танцы и т. п. У меня получалось очень хорошо, но я была настолько невосприимчива ко всякому не лежащему на поверхности смыслу, что часто оказывалась в дураках. Шутки и иронию я не воспринимала вообще. Я даже не замечала этого, но другие иногда подшучивали надо мной и ругали меня за то, что я не понимала их. Физический контакт тоже был проблемой, Я научилась, что нельзя убежать, когда к тебе прикасаются, а надо остановиться и что-то сказать. Так я и делала. А если собеседник был не прочь поговорить, я начинала обсуждать все мыслимые темы и часто надоедала какому-нибудь мальчику.

Была еще одна дилемма — как узнать, когда нужно отказаться, а когда согласиться на сексуальный контакт, об этом у меня не было абсолютно никакого представления. Я спросила маму, и она дала мне «железное» правило: «Когда ты повстречаешь человека, которого сможешь представить сидящим напротив тебя за кухонным столом всю оставшуюся жизнь, тогда стоит подумать».

Каждый раз, когда я встречала какого-нибудь мальчика, который, как мне казалось, интересовался мною, оказывалось, что выбирать особенно не из кого. Впоследствии, когда я встретила того, кого я могла представить рядом с собой, я спросила маму, что нужно делать. Тогда она рассказала мне о сексе, рождении детей и обо всем, что она считала нужным мне рассказать. Потом она попросила меня, чтобы я привела этого мальчика домой, чтобы она и папа познакомились с ним и объяснили, какие у меня проблемы.

Как-то раз я привела его в дом. Папа вышел с ним на скотный двор, они провели там много часов, разговаривали, чтобы он понял, как жить с человеком, имеющим такие проблемы. К сожалению, через год он попал в автокатастрофу, и его жизнь оборвалась.

Спустя год я встретила человека, который был сама любовь, понимание и терпение. Он помог мне социализироваться, с ним я могла тренироваться, пока не выработала кое-какие жизненные стратегии.

Мне было трудно водить машину и ориентироваться в пространстве, находить новые места по карте. Папа рано начал учить меня вождению. У меня плохо получалось ездить на велосипеде, было слишком много вещей, на которых нужно было удерживать внимание: нажимать на педали, держать руль, удерживать равновесие, смотреть, куда едешь, тормозить и т. п. У меня ничего не получалось. Я часто падала, заезжала в канаву, сильно нажимала на педали и опрокидывалась. Все же я каталась много и подолгу. В двенадцать лет я могла ездить вместе с другими подростками в соседнюю деревню или в город, я только не могла ехать домой одна, потому что на перекрестках я не могла понять, в какую сторону ехать.

В эти годы у меня появился мопед. Он был дедушкин. Дед перестал ездить и не видел ничего плохого в том, чтобы подарить его мне. Я тренировалась на проселочной дороге, где не было никакого транспорта. Я заводила мотор, проезжала немного, тормозила и поворачивала обратно. Нужно было только завести мотор, нажать на газ, потом на тормоз, так что управлять им было не труднее, чем велосипедом. Кроме того, скорость регулировалась ручкой, так было даже удобнее. Я научилась наклоняться, поворачивать, как на мотоцикле, и мопед пришелся мне по нраву больше, чем велосипед.

Потом был трактор. Папа научил меня водить его. Сначала вперед и назад. Я сидела у него на коленях, а он нажимал на газ, переключал скорости и разрешал мне управлять. Так я ездила с раннего детства. Когда мне исполнилось шестнадцать лет, он решил, что я должна научиться водить трактор самостоятельно. Я участвовала в заготовке сена, водила трактор с

загрузочным устройством спереди. Назад, сгрести сено, въехать под копну, приподнять, задний ход, выехать, свалить сено, следующая копна. Это повторяющееся упражнение я делала две недели и научилась чувствовать движения и несовершенства трактора как средства передвижения. Я тщательно расширяла свое восприятие. Станным в моем «состоянии» было то, что оно часто пустело и стояло неподвижно, без всяких импульсов, и, хотя я видела и понимала, что происходит вокруг меня, это не давало никаких импульсов, которые запускают в ход действие. Это было похоже на невидимую коробку из стекла: все видно и слышно, все есть и функционирует, но я как будто находилась в кошмарном сне, тело было совершенно неподвижным, в активном состоянии была только психика.

Папа объяснял и объяснял, я должна была повторить своими словами то, что он объяснял мне, я должна была говорить и что-то делать одновременно. Он разрешал мне что-то делать, рассказывать о том, что я сделала, описывать, что я буду делать, а потом выполнять. Он продолжал до тех пор, пока я не научилась создавать «картинку» в сознании, из которой впоследствии могла «поднять» мои действия.

Брату папа поручил читать мне книгу об устройстве автомобилей. Он читал ее вслух несколько раз. Когда у меня появлялось первое знание, появлялись и мысли о том или другом явлении, о котором говорилось в книге. Мы изучали устройство мотора, дорожные знаки, тормозные пути, правила дорожного движения и т. п. Сначала он читал, а потом объяснял своими словами. Потом он произносил какое-нибудь ключевое слово, и я должна была наговорить все, что приходит мне в голову относительно этого слова. Каждый раз, когда я ехала на машине с папой, я должна была сидеть рядом с ним и объяснять каждый дорожный знак, который встречался нам на пути. Он учил меня, что я должна смотреть и реагировать каждый раз, когда я вижу знак, сразу думать, что он означает, и что бы я сделала, если бы я вела машину. Последнее было трудно, но мне нравилось придумывать. Он, например, спрашивал меня:

«Какая погода?»

«Идет дождь».

«Если бы ты вела машину, что ты стала бы делать?»

И мне приходилось думать, гадать, объяснять, в результате через несколько лет я знала самые элементарные вещи относительно правил, дорожных знаков и моторов, и мне это нравилось.

После этого я научилась водить один из мотоциклов моего дяди. Брат получил легкий мотоцикл, и папа договорился о времени для сдачи экзамена на водительские права. Я присутствовала при этом, и через год сама сдавала экзамены на права на вождение мотоцикла. Это был великий день для меня, большая победа. В то время было так, что людям с дислексией, как у меня, нужно было сдавать устный экзамен по теории. Оказалось, что у инспектора никогда не было ученика, который знал книгу так же хорошо, как я. Ему понравилось задавать вопросы по ней, и он был очень доволен моими ответами.

С вождением автомобиля было сложнее, и с первого раза я не смогла сдать экзамен. Инспектор ехал в автомобиле за мной, поэтому я получила длинную инструкцию с множеством указаний, которым мне не удалось следовать. Я два раза останавливала машину и шла за дальнейшими инструкциями.

В следующий раз, перед тем как сдавать экзамен, отец поехал за мной на машине и дал мне массу инструкций, вверх-вниз, вперед-назад, остановить машину и завести машину, поворот направо-налево. Поворачивать направо-налево я не умела — из всех попыток удавалась только половина, но отец сказал, что у нас есть шанс, хотя он не пробовал заучивать это со мной. Я справилась и получила права. Я все еще не умела поворачивать направо и налево, я показывала правильно, но говорила неправильно и, когда мне приказывали, чуть не каждый раз поворачивала не в ту сторону.

Когда мне исполнилось восемнадцать лет, я с удовольствием сдала на права на вождение автомобиля. До этого отец целый год разрешал мне ездить на его машине, это было против правил, но он говорил, что мне нужно больше времени, чем другим, и что это смягчает его

вину. Я не знала ни законов, ни прав, так что мне было все равно.

Ирис, девочка снаружи

Я изучаю педагогику в институте, и мне предстоит работа в группе. Я никогда не понимала, что это такое. Вот ты получаешь задание и должен делать работу вместе с кем-то по какой-то непонятной причине. Все выбирают себе партнера. Остается один студент, которому не хватило пары. Он не учится с нами, но пропустил этот небольшой учебный курс, и поэтому он сейчас сидит рядом со мной.

Мы начинаем. Он говорит, что «сначала мы изучаем это, потом создаем из этого структуру и заполняем ее, как полагается». Я отвечаю: «К сожалению, я не могу ничего изучить с начала до конца, мне нужно взять это домой и нужно время, но если ты прочитаешь, то потом мы сделаем, как ты хочешь». Он издает стон. Мы разговариваем о моей дислексии, о работе в группе, наконец он начинает ругать меня и кричит, что я законченная аутистка, с которой нельзя работать вместе.

Поскольку я привыкла к подобным вспышкам и никогда особенно не обижаюсь, я спрашиваю его, что такое вообще «аутист». Он успокаивается, недоверчиво смотрит на меня, и спрашивает, неужели я такая тупица, что даже не знаю, что такое «аутизм»? «Нет», — отвечаю я, — я когда-то слышала такой диагноз, мне кажется, что на занятиях по организации активного отдыха упоминали об этой проблеме, но я никогда не понимала, что это значит, и теперь я хотела бы узнать, почему этот студент считает, что я аутистка.

Он воспринял мой вопрос серьезно и начал рассказывать. Он учился на факультете коррекционной педагогики и оказался сейчас здесь потому, что пропустил этот курс, необходимый для получения сорока баллов, и у них как раз был спецсеминар по аутизму. Он рассказывал и рассказывал, и, в конце концов, я сказала, что, похоже, он говорит о моем детстве. Он очень заинтересовался и через пару часов предложил мне поехать в Гётеборг, чтобы протестировать меня; он хочет узнать, что чувствует человек, когда он пребывает в другом состоянии, вне мира конкретных человеческих связей.

Так я начала рассказывать всю историю о моем непостижимом мире, когда я была маленькой. Массу эпизодов я помнила сама, многое мне рассказали другие — все эти нелепости, которыми было полно мое детство, многое я узнала от стариков, свидетелей моего детства. Еще мне посчастливилось встретить замечательных педагогов, которые помогли мне составить образ самой себя как Ирис.

Я ясно помню «Ирис». Я знала, что такое «Ирис», но не знала, что такое «я». Все говорили «я», так что это ничего не значило, а «Ирис» была «девочка». В мире Ирис не было людей, только масса обстоятельств, которые иногда замирали, которые можно было понюхать, попробовать на вкус, схватить и бросить. Иногда они шевелились и издавали звуки, было веселее если они издавали много звуков, тогда они распространяли красивый свет, и лучи света складывались в красивые узоры, которые все время светились и извивались в причудливых формах. Это было похоже на фейерверк, там были цвета, но это не были обычные цвета, это был чистый свет, который каждый раз преображался. Кто-то оттаскивал Ирис, она не хотела поддаваться, ей это нравилось, это было так здорово, и она не могла перестать. Говорили, что для нее ничто не имеет значения, и все сразу исчезает из ее головы.

Папа Ирис заметил, что с ней что-то неладно, когда ей было месяц и три недели от роду. Брат тряс ее кроватку, и ее пальцы попали в щель между кроваткой и стеной, они посинели, но она не кричала. Это насторожило папу, но он подумал, что это всего лишь случайность. Спустя месяц Ирис промеж глаз укусила пчела, но она не кричала, хотя у нее опухло все лицо. Тогда папа еще заметил, что Ирис не кричала, когда пеленки становились мокрыми, когда ее оставляли одну или когда она хотела есть, и он подумал, что нужно сделать так, чтобы все замечали ее и заговаривали с ней.

Он соорудил гамак и повесил его в дверях кухни, так что все, кто входил и выходил из кухни, должны были наклоняться, чтобы пройти. Само собой, все заговаривали с ней.

У мамы с папой был уговор. Маму разлучили с ее мамой, когда ей было два с половиной месяца, и она заболела туберкулезом, первые шесть лет жизни она провела в санатории, а потом стала жить у одинокого деда. В доме еще жила тетка по матери, которая иногда заботилась о ней. Мать была боязлива, вечно встревожена и робка. Когда пришло время идти в школу, она так испугалась, что плакала без остановки, и папа, который был на два года старше ее, взял ее под свою защиту и следил за тем, чтобы никто не трогал ее. Так начались их отношения, которые через много лет привели к браку.

Мама знала, что она «не выносит» маленьких детей, и она не хотела иметь детей, но папа так сильно хотел детей, что они решили: она родит их, а папа будет ухаживать за ними. Так и вышло, особенно с Ирис. Когда мать забеременела Ирис, ее болезнь вспыхнула снова, и ей пришлось лечь в больницу на все время до рождения Ирис. Она питала отвращение к больницам после мучительных лет, проведенных в больнице в детстве, и чувствовала себя ужасно. Ирис родилась в инфекционном отделении, и мама не виделась с ней и не брала ее, Ирис отправили в местную больницу, чтобы сделать прививку от туберкулеза, чтобы мама не заразила ее. Ирис провела в больнице трое суток, чтобы выработался иммунитет, а потом вернулась обратно.

Мама рассказывала, что когда Ирис вернулась обратно, она кричала так душераздирающе, что мама испугалась и отвернулась от нее. Тогда Ирис перестала кричать, стала пайнкой и лежала совсем тихо.

Поскольку девочка была «выключена» из жизни, папа решил, что он будет носить ее с собой как можно больше. Он был крестьянином и работал в основном на скотном дворе. Он сделал своеобразный рюкзак и посадил в него девочку. Каждый день она сидела в нем, прижавшись к его голой спине: у него был псориаз, и он не мог носить рубашку. Еще он все время говорил. Не столько с девочкой, сколько с самим собой: «Посмотрим, не дать ли Майрус еще что-нибудь вкусненькое, она не спешит приниматься за еду...», «Эге, вон идет старая кошка, которую я не видел уже несколько дней, она где-то гуляла, пойдём-ка мы добудем для нее свежих сливок...», «Какой у нее потрепанный вид», и т. п.

В обеденный перерыв папа и Ирис лежали на кровати или на лужайке, и папа пытался удержать взгляд Ирис. Иногда это у него получалось, и папа становился очень счастливым, но Ирис тотчас уходила от контакта. Тогда папа бранился. Он обнаружил, что когда он не ожидал контакта, или был чем-то обеспокоен, у него не получалось войти в контакт с Ирис. Только тогда, когда он был совершенно спокоен и собран, он мог обрести контакт. Он также понял, что контакт происходил на условиях девочки. Он завлекал ее и играл с ней целую вечность, и, в конце концов, ему удавалось на какое-то мгновение войти в контакт с Ирис.

Когда девочке было чуть больше трех лет, папе удалось удерживать контакт так, чтобы она не могла укрыться в своем мире. Он сохранял контакт так долго, что она принималась плакать. Прежде она никогда не плакала и не кричала, но теперь все изменилось. Она стала невменяемой и стала докучать близким. Она стала кричать непрерывно: когда приходил незнакомый человек, когда кто-то уходил, когда кто-то смотрел на нее, когда кто-то протягивал к ней руки... и т. п. Приходилось уносить ее из комнаты, чтобы можно было разговаривать.

Папа считал это достижением. Не то чтобы он беспокоился, насколько она развилась, он просто радовался, что она стала доступной для контакта. Многие говорили ему, что с девочкой что-то не в порядке и что нужно найти специалиста, который помог бы ей развиваться и стать нормальным человеком. Но папа считал, что она должна быть такой, какая она есть и что на крестьянском дворе найдется место для всех, и, конечно же, она найдет, чем заняться, даже если она не будет слишком умна.

Его стремление к контакту имело под собой совершенно иную основу. Больше всего на свете он любил коров. Коровы не хотят давать молоко, они «отпускают» молоко только для теленка. Чтобы подоить корову, крестьянин должен обмануть ее. Если корове дать еду, тогда ее можно подоить, она не может сдерживать молоко и есть одновременно, а еда притягивает ее. Если это не удастся, можно подвязать корове одну ногу, и ей приходится балансировать на

трех ногах, тогда у нее не получается сдерживать молоко. Можно также подвязать хвост, есть и другие способы. Папа думал, что это несправедливо. Он хотел установить контакт с коровами, чтобы они давали молоко не в результате его манипуляций, поэтому он говорил с ними столько, сколько получалось, похлопывал по спине и смотрел на них, пока они из милости не дарили ему молоко. Он любил, когда скотный двор был полон коров, и все они свободно отдавали молоко.

Когда папа не мог быть с девочкой, он отдавал ее Эмме. Эмма была старой тетей, которая не хотела жить в доме для престарелых и жила у папы и мамы. Эмма была почти слепой и глухой, у нее была одна рука. Другая рука была вывихнута при рождении, и перестала расти. У нее девочке нравилось. Эмма никогда не могла понять, почему другие говорили, что Ирис девочка со странностями, ей казалось, что девочка ведет себя прекрасно. Папа видел, что девочка не беспокоит Эмму, и поэтому он любил оставлять ее с ней. Эмма умерла, когда девочке было четыре года. На Ирис нельзя было положиться. Она могла уйти куда глаза глядят, и не имела ни малейшего понятия, как найти дорогу назад. Она могла увязаться за первым встречным, могла пойти в лес, а когда она уставала, она ложилась под дерево и засыпала. Вся округа отправлялась на поиски и по нескольку часов искала ее. Она боялась темноты, и, если темнота заставала ее вне дома, она садилась на корточки и ныла, пока ее не находили. Существует бесконечное множество историй о ее побегах, но когда Ирис исполнилось семь лет, она стала убегать в одно и то же место. Это было жилище отшельника, который стрелял солью из ружья во всех, кто приближался к его жилищу. Он жил в старой землянке на краю леса. Она залезала в канаву, и когда он видел ее, он подходил и забирал ее к себе. Он знал, где она живет, и, если хотел, он шел обратно вместе с ней и отпускал ее на лужайке, чтобы видеть, что она идет в сторону дома. Он, как папа, говорил сам с собой. Он говорил обо всем, что происходило в его жизни, обо всех несчастьях, которые исходят от людей, и что нельзя надеяться на людей и связываться с ними. Девочка ничего не понимала тогда, но любила повторять все, что он говорил, звуки его речи казались такими чудными, она повторяла и повторяла, так же, как она делала, когда слушала папу, когда он нес ее на спине.

Охотнее всего девочка качалась часами на своих качелях или сидела где-нибудь в гараже. Она сидела как вкопанная и не думала о других детях или о том, чтобы поиграть с ними. Она часто входила в церковь и сидела там тихо-тихо. Папе это не нравилось. Он хотел, чтобы у нее была компания, считал, что она должна быть в компании, и требовал от других детей, чтобы они брали ее в свои игры. Они избегали ее. Брат играл с друзьями. Иногда они пытались брать ее в игру, но она не умела соблюдать правила. Когда они объясняли, что она должна водить в игре в прятки, должна считать, а потом искать, а потом «выручать», она застывала, прислоняясь головой к столбу, и считала до десяти снова и снова, в конце концов им приходилось прерывать игру и выбирать ведущим кого-нибудь другого. Тогда она пряталась вместе с остальными ребятами, но она не понимала, что нужно следить за тем, где находится водящий, пытаться добежать до столба и постучать по нему, она шла и пряталась так, что приходилось прерывать игру и по нескольку часов искать ее. Тогда ее сажали за стол, где ее можно было видеть, а другие играли. Девочка думала, что она тоже участвует в игре. Ей нравилось сидеть там, когда другие бегали вокруг. Было так весело, когда свет окутывал ее и в воздухе мелькали фигуры, она часто хохотала. Папа был недоволен этим, но он не вмешивался.

В доме жила еще овчарка, и у нее родились щенки. Папа думал, что девочке нужна собака, и оставил одного щенка. Девочка не всегда хорошо обращалась с собакой, она кусала и щипала ее, но собака научилась уворачиваться, а также сторожить девочку. Папа мог позвать собаку, и она всегда выла в ответ и давала знать, где мы. Если даже собака была заперта на замок и девочки рядом с ней не было, она отыскивала девочку и выла, пока кто-нибудь не приходил за ними. Так ее побеги остались в прошлом.

Ирис любила воду, но не выносила снимать с себя одежду. Она забиралась в каждую лужу, становилась под желобом для стока воды или бегала голышом под дождем. Чтобы вечером снять с нее одежду, мама выливали ей на голову стакан воды или ставила ее в одежде

в бадью с водой, тогда ей приходилось раздеваться, потому что она не любила, когда мокрая одежда прилипала к телу. Еще она ненавидела только что постиранные вещи, одеть ее было сущим наказанием. Она хотела носить старую одежду, в которую она могла зарыться лицом и почувствовать запах дома. Какие-то вещи были для нее неприятными, особенно сшитые из фланели, их приходилось выворачивать наизнанку. Если что-то было не по ней, она закатывала истерику, кричала, кусалась, и эта «вспышка» могла длиться часами.

Временами кормление становилось проблемой. Она никогда не приходила к столу сама, но часто удавалось посадить ее за стол и дать ей что-то, что она ела или даже уписывала за обе щеки. Бывало, что она по полгода ела одни оладьи. Ничего другого запихнуть в нее не удавалось. Мама беспокоилась и сердилась, а папа говорил, что «индийцы много лет ели один только рис и не умерли, и Ирис обойдется оладьями», он надеялся, что это пройдет. Так оно и случилось.

С туалетом у Ирис тоже были проблемы. Не то чтобы не удавалось посадить Ирис на горшок, дело в том, что она сидела там часами, прежде чем сходить. Ей нравилось сидеть там, и она часто забывала обо всем на свете. Папе это не нравилось, особенно зимой, и он соорудил кольцо из коры пробкового дерева, чтобы у нее не замерзла попа, и специальный деревянный стул, который ставился на скотном дворе, чтобы она могла сидеть в помещении, а не на улице.

Летом семья ездила к морю купаться. Как только приходили на море, Ирис входила в воду и вырывалась, когда нужно было уходить, даже если она сидела в воде целый день. Все по очереди присматривали за ней, потому что она могла забрести в воду по самую макушку и у нее не хватало ума, чтобы повернуть обратно. На море тонули часто, и папа решил, что нужно научить ее плавать. Это оказалось просто. Папа поручил это мальчику, который жил в их доме летом, он накручивал ее волосы на руку, тянул за них и кричал: «Плыви, плыви», и она научилась плавать. Тогда появилась новая проблема: стоило кому-то отвернуться — ее и след простыл. И когда начинали искать ее, далеко в море замечали ее макушку со светлыми, как лен, волосами. Приходилось брать лодку и плыть за ней. С тех пор стали следить за ней более внимательно.

В основном присматривал за Ирис папа, для этого нужно было иметь «глаза на затылке», он стал как каракатица и не упускал ее из виду, но однажды на семейном празднике на пляже, где собралось множество людей, маме взбрело в голову, что теперь она будет присматривать за Ирис. Папа согласился, хотя не без колебаний, но это продолжалось недолго, потому что девочка тут же исчезла. Все звали ее, кричали в рупор, множество людей стало искать ее в тростнике и вокруг, но найти ее не удалось.

Мимо проходил один человек, который работал в вечернюю смену и хотел искупаться, прежде чем идти на праздник. Когда он стал выходить из воды, он заметил маленькую девочку, которая стояла далеко на мосту, а потом прыгнула в воду. На ней было белое платье-букле, белые чулочки и белые туфли. Она взбиралась на перила, спрыгивала, выжимала платье и опять забиралась на перила. Первый раз он увидел ее, когда он выходил из воды, потому что когда он входил в воду, она сидела под мостом. Он взял ее с собой на праздник и поставил ее на сцену, чтобы ее могли увидеть родители. Поднялся переполох, а девочка только смеялась. Лампа на сцене освещала девочку, она стояла и смотрела в дощатый пол, на который стекали ручейки с ее ног и просачивались между половицами. Она увидела чьи-то волосатые руки, оказалась на земле, и с нее стали снимать одежду.

Со временем Ирис стала, как кукла: ее можно было одевать и раздевать, другие дети могли делать с ней что угодно, она соглашалась на все. Она засыпала на месте и спала несколько минут, потом просыпалась и бодрствовала несколько часов. Она писалась, если никто не следил, чтобы она села на горшок или пошла в туалет.

Папа смастерил туалетный стул, который он поставил на скотном дворе, и объяснил девочке, что то, что она «сделает», будет использовано на полях и станет пищей для новой жизни, которая произрастет там. Девочке нравилось, как папа объяснял ей всякие вещи, хотя она редко понимала слова и сидела на своем стуле часами. Иногда она «делала» что-то, иногда ничего не получалось. Она никогда толком не понимала, что она должна знать и делать, но

поскольку она сидела подолгу и часто, в конце концов, получался приличный результат. В возрасте пяти лет появились «сигналы», и в надлежащее время что-то «щелкало» в мозгу, и она шла в туалет.

Через год, когда она проучилась полгода в школе, эти сигналы исчезли, и одно время она «ходила» в штаны. Мама сердилась и считала, что девочка бессовестная и все делает для того, чтобы у мамы было больше хлопот. Ее наказывали — не пускали в дом или из дома, это зависело от того, что мама считала правильным в каждом случае. От этого девочку охватывало отчаяние, она плакала и плакала... но не понимала, какой урок она должна извлечь из всего этого. Она была неспособна логически продумать ситуацию и понять, к какому результату должны привести применяемые к ней санкции. Мама приходила к выводу, что «ее нельзя воспитать, она полная идиотка, не может научиться элементарным вещам, и не способна прилично себя вести по отношению к другим людям».

Быть Ирис означало наблюдать. Ирис видела мир, видела папу, который был там, видела маму, которая была там, и иногда других, но это ничего не значило, однако когда туман рассеивался на мгновение, что-то становилось понятным. Ирис была поленом, камнем, собакой, да кем угодно, так трудно объяснить — только видеть и видеть и видеть, но ни в чем не участвовать.

Как правило, Ирис видит свою руку или ногу или свое платье или какую-нибудь другую маленькую деталь. Она занимается рассматриванием деталей, взгляд приковывает движение деталей. Того, что стоит на месте, не существует, оно невидимо, она не замечает этого, этого нет в природе.

В голове пустота; как воздух, который просто есть, иногда приходит ветер, который можно почувствовать и заметить, и он захватывает ее. Чьи-то глаза смотрят на нее. Тогда ей хочется потрогать, почувствовать, понюхать и протиснуться туда, но не получается; всем это кажется неприятным, и все шарахаются от нее или отталкивают ее. Тогда в голове остается только эта картина, и она попадает в пустоту, где висит картина, которая постепенно блекнет.

Она мучает животных: она берет их, тискает, тащит за собой, тычет в них пальцами без всякой жалости к живым существам. Это самое очевидное в Ирис — у нее нет сочувствия к живому, для нее это лишь движение, у нее нет чувства, которое будит мысль и понимание.

Ирис любила звуки. Иногда кричащие, ужасные звуки. Такой звук, который издают тормоза в соседской машине. Ирис слышала, как машину заводили, подбегала к изгороди, становилась там и выскакивала прямо перед автомобилем. Он взвизгивал, а девочка чувствовала подкатывавшую изнутри радость. Это была целая серенада, казалось, что мир рождается заново и становится понятным, чтобы вскоре преобразиться снова, когда кто-то хватал ее и изо рта вырывалось множество световых иголок, тело начинало дрожать, и слова светились по-другому.

Из таких эпизодов состояла жизнь Ирис. Папа не жалел времени, чтобы достучаться до Ирис. Иногда это у него получалось, и тогда все преображалось. Мир становился видимым и понятным, комната и вещи становились другими, но только пока папа держал связь с ней.

Ирис ничего не делала сама, только бесцельно слонялась по комнате или сидела под кухонным столом или на качелях, или в каком-нибудь другом укромном уголке. Ее чувства и ее тело существовали отдельно друг от друга. словно не было контакта между разными системами.

Некуда было прицепить отдельные происшествия, поэтому не получалось использовать их как модель в последующих случаях. Поэтому Ирис повторяла то же самое сколько угодно раз и не могла остановиться, хотя никто особенно и не пытался приучить ее к чему-то другому.

Какие-то виды поведения исчезали так же неожиданно, как появлялись, без всякой видимой причины. Папа мог заставить Ирис прекратить делать те или иные вещи, но он действовал совершенно иначе. Он брал ее к себе на колени, повторял с ней то, что она делала, держал ее и делал что-то новое, а потом отпускал ее. Когда она принималась за старое, он прodelывал тот же самый маневр снова и снова, и в конце концов она меняла модель

поведения. Тогда он радовался.

Ирис любила эти упражнения. Внутри пустоты образовывалась некая субстанция, и она ощущалась как радость. Когда не папа, а кто-то другой делал то же самое, это причиняло ей боль, это было неприятно, хотя боль была лучше, чем обычная пустота.

Ирис везде слышала слово «Ирис». Оно произносилось разными голосами, и в атмосфере возникали разные цветные язычки. «Ирис» ощущалось, имело некую сущность, говорило о чем-то близком, значило что-то.

Папа понимал, что Ирис не понимает, что Ирис — человек, девочка, такой же ребенок, как другие дети. Он думал, что должен научить ее. Дать ей представление о том, что такое вообще Ирис. Он понимал, что что-то не срабатывает в ее представлении, потому что ни в мыслительном, ни в языковом отношении она не развивалась, как ее брат. Она, конечно, иногда подражала взрослым и много говорила сама с собой, но это было не осмысленно, не так, как у других детей.

Он прикрепил зеркало к дверце платяного шкафа, ставил Ирис перед ним, а сам становился рядом с ней и показывал. Он поворачивал ее голову к ее изображению в зеркале и не позволял ей смотреть в другую сторону. «Ирис», — говорил он, показывал на нее и снова говорил: «Ирис, Ирис». Ирис стояла перед зеркалом. «Ирис, Ирис, Ирис...» Ирис ничего не видела в зеркале, там было какое-то движение, что-то качалось и двигалось, «Ирис, Ирис, Ирис», было весело, чувствовалась папина атмосфера, девочка задирала голову и хохотала.

Прежде чем поставить Ирис перед зеркалом, папе пришлось долго бороться с ней. Ирис выдавала «вспышку» за «вспышкой», вообще не хотела попадать в эту ситуацию, но папа так решил и продолжал заниматься с Ирис до тех пор, пока она не приняла его условия игры и не стала участвовать в занятиях, какими бы пугающими и противными они ей ни казались. Папа знал, что для нее станет вредным и разрушительным, если он не будет заставлять ее, дожидаясь, пока она каким-то образом не подаст сигнал, что готова участвовать в созданной им ситуации. Когда он видел эти сигналы, он начинал заниматься с Ирис, и она могла участвовать в ситуации.

Все заканчивалось. Девочка выходила из комнаты и опять попадала в пустоту. Из пустоты можно было выйти, только выйдя из себя, и это было самое приятное, что она могла придумать. Она постоянно стремилась к этому и начинала ужасно беспокоиться, когда у нее не получалось. За этим следовали «вспышки» и деструктивное поведение, что вызывало неприятные чувства у окружающих ее людей.

Ирис оставалась Ирис, она не была в мире. Когда кто-то пытался войти с ней в контакт, испытывал к ней какие-то чувства и эмоционально обращался к ней, человек «исчезал» для нее. «Он», «она» становились вещами, довольно быстро превращались в ничто, становились неподвижными, невидимыми. Опять пустота и стремление «наружу».

Говорили, что Ирис была мила и очаровательна, у нее были длинные, светлые, непослушные волосы, которые мама пыталась убрать в хвост или заплести в косу. Несмотря на все конфликты по поводу переодевания, ее ничего не стоило обмануть и получить от нее то, что было нужно окружающим. Рассказывали, что она очень боялась людей, которые хотели прикоснуться к ней, обнять ее, поиграть с ней. Она выворачивалась, как угорь, уползала и пряталась в каком-нибудь укромном месте. Она могла исчезнуть на несколько часов. Домашние привыкли и особенно не беспокоились, что ее нет, но остальным это было очень неприятно.

В мире девочки эти неприятности были так невыносимы. Это было, как будто кто-то «опрокидывал» весь ее мир, как будто ее вовлекли в какое-то действие, в котором участвовали толпы страшных людей, как в доме с привидениями, где в любую секунду может случиться самое, что ни на есть отвратительное. Она кричала, билась, ударяла ногами по окружающим предметам и бежала во всю прыть. Когда она останавливалась, сердце колотилось, и весь ее мир превращался в хаос ужасных звуков и картин. Она слышала слова и смех, которые врезались в голову, это было словно кошмарный сон, картины были похожи на неоновые вывески с ужасными физиономиями, которые скалили зубы и строили ей рожи. Глаза были

похожи на огромные всасывающие дыры, которые пытались втянуть ее в себя. Она тряслась, стучала зубами, по щекам бежали слезы, это было так страшно, что девочке хотелось убежать далеко-далеко.

Это ей часто удавалось. Она раскачивалась с минуты и попадала в состояние «снаружи», и на этот раз все заканчивалось.

(По рассказам отца, в первые три года жизни этого никогда не происходило. Тогда ей не было дела до других. Они ее совершенно не интересовали. Они могли поднять ее и прижать к себе, и она была как тряпка, позволяла другим вертеть собой, как им заблагорассудится. У нее не было никаких «вспышек» и никаких реакций, кроме реакции на Эмму и иногда на усилия папы удержать контакт с ней. Она могла реагировать с некоторой боязнью на мамины руки, но так слабо, что папа не обращал на это внимания.)

После трех лет, когда папе удавалось удерживать ее в мире, чтобы она не могла увильнуть, и до шести, когда она поняла, что не умрет, если перестанет кричать каждую минуту, все эти разрушительные образы развивались стихийно. Она заикливалась на определенных вещах и не могла оставить их, не хотела менять свою одежду или перевернуть ее на лицевую сторону, даже если понимала, как ее нужно носить, или шла туда, куда хотела, или вообще отказывалась двигаться. Она была упрямой, не поддающейся влиянию, резкой и агрессивной. Ее ничто не интересовало, но иногда какая-то вещь привлекала ее внимание, и тогда она легко могла разбить или разорвать ее. Она кусала людей и животных так, что они кричали как резаные, тогда она заливалась смехом. Еще больше она хохотала, когда на нее сердились, и воздух наполнялся потрескивающими разноцветными язычками.

Физически она развивалась, как обычные дети, разве что несколько позднее, чем полагается, научилась элементарной вещи — замечать, когда ей нужно в туалет. Но она так и не научилась чувствовать опасность. Самые безобидные вещи могли вызвать сильнейшую реакцию, а что-то действительно опасное она могла и не заметить.

Брат и его друзья часто использовали ее, чтобы проверить на ней новые забавы. Например, над силосной траншеей глубиной в пару метров перекидывали доску и просили залезть на нее первой. Если доска выдерживала ее, то все остальные залезали на нее следом, а если она падала, спускали веревку, чтобы вытянуть ее. Она не ушибалась, и это не причиняло ей никакого вреда. Ей не предлагали делать вещи, опасные для жизни, но во всяких неприятных ситуациях, которые нужно было сначала проверить, ее пускали вперед.

В восприятии девочки мир состоял из отдельных кусочков, в которых она жила и которые потом исчезали. Иногда все ее существо сосредотачивалось в глазах, и тогда она видела все. Видела мелочи, которые увлекали ее и с которыми она могла возиться вечно. Было так здорово наблюдать за чем-нибудь, стоило только пошевелиться, как оно преображалось. Казалось, будто ты находишься в каком-то особенном воздухе, где четким было только то, на что ты смотришь, остальное отходило на задний план.

Иногда в фокус попадали звуки. Тогда она что-то слышала. Что угодно могло захватить ее внимание, и она слушала и слушала. Например, радио, если из него лилась классическая музыка, все вокруг наполнялось красивейшими разноцветными колебаниями. Словно ты оказывалась в живом произведении искусства, и тебя влекло в разные стороны, музыка веселила и волновала. Кто-то подходил и выключал радио. Тогда она стояла долго-долго, уставившись на радиоприемник, и не понимала, что происходит. Бывало, она слышала чей-то голос или что-то другое, например звук мотора какой-нибудь машины, и красивые разноцветные движения возникали снова.

Звуки иногда были тем, чем должны быть, — словами. Она слышала слова, и перед глазами возникали картины или последовательность кадров. В них могло говориться о том, что происходило с девочкой или с говорившим, и девочка видела эти небольшие фильмы. Она не подозревала, что другие не видят этого, и вдруг она выбалтывала правду, и люди отскакивали от изумления. Никто не верил, что она понимает, и еще меньше верили в то, что она может удерживать нить долгого и более-менее сложного разговора. Она и не могла, только на короткое мгновение у нее получалось ухватить правильную последовательность, и

тогда она могла точно понять, что происходит.

Эта двойственность девочки была непонятна окружающим. Она казалась недоразвитой и не понимала простейших просьб, в следующее мгновение она могла сформулировать столь сложную мысль, что окружающие не могли сразу понять ее. Казалось, что папа был прав, когда говорил, что у нее замедленное развитие в определенных областях, но у нее не было нарушений в развитии. Никто не мог уяснить, что с ней происходит, потому что в один момент она могла понять что угодно, а в следующий миг «застревала» и переставала соображать вообще. То, что нельзя было вести с ней осмысленную беседу, ужасно беспокоило окружающих. Им казалось, что она специально сердит их или издевается над ними, и многие в гнев и досаде поворачивались и уходили, оставляя ее на папу, который умел одному ему известным способом договориться с ней или придумать способ вывести ее из этой заикленности, сместив фокус восприятия.

Ее ощущения работали так, что, если она фокусировалась на них, она становилась гиперчувствительной и подсакивала до потолка, стоило кому-нибудь дотронуться до нее. Любое прикосновение жгло кожу огнем. Чем осторожнее и бережнее до нее дотрагивались, тем сильнее жгло. Это было ужасно неприятно. Если она не была сфокусирована на ощущениях, она ничего не чувствовала, а если ее хватали довольно грубо, ей было больно, и девочка смеялась. Она любила боль, потому что ощущала ее как жизнь. Если она сама что-то переживала, внутри нее возникали цветные чувства, становилось тепло, холодно, пробирала дрожь или охватывала боль разной интенсивности, появлялось множество картин и ассоциаций. Девочка часто играла так. Сфокусировавшись на кончиках пальцев, она трогала что-нибудь, на чем останавливался взгляд, сдавливала, сжимала, щипала, терла, била этот предмет, и т. п., получала разные болевые ощущения и попадала в каскад зрительных, звуковых, обонятельных, вкусовых ощущений.

Иногда она не могла переключить фокус с ощущений, и тогда пугалась, потому что другие люди подходили слишком близко, их глаза превращались в черные всасывающие дыры, их слова ударяли по ней, переворачивали все внутри, и тогда возникала новая «вспышка». Если она трясла головой или кричала, она могла перекричать то, что «наводняло» ее, и оно вскоре проходило. В голове воцарялся замечательный хаос, почти состояние эйфории, это часто давало «хорошую боль», облегчающую боль, которая стирала все неприятные впечатления, наполнявшие ее.

Обоняние было важным чувством. Она нюхала все. Она была вынуждена вбирать в себя все, что окружало ее, подносить к носу или приближать нос ко всему, что ей попадалось. Это тоже беспокоило окружающих. Ее постоянно стыдили, говорили: «Да ладно», «Перестань», «Разве так можно» и т. п., но она не могла перестать. Как будто кто-то невидимый заставлял ее делать это. Она слышала, что говорили окружающие, но не могла слушаться их. Каждый запах включал разные чувства внутри нее. Там словно открывалась «ярмарка чудес», где можно было покататься на карусели. На мгновение ее охватывал дикий восторг, все вертелось и тут же уносилось прочь. Возникал новый запах, и все повторялось снова и снова. Иногда у нее не было никакой реакции, но это была передышка, чтобы найти что-то новое, реакции все равно возникали рано или поздно. Иногда появлялось чувство тошноты, которое мучило ее, и это тоже было приятно. У нее легко возникала рвота, и это ей нравилось, к ужасу окружающих.

Папа понимал, что эта привычка все нюхать была своего рода компенсацией. Он часто пытался вытеснить это поведение, держал ее на руках, играл с ней, подбрасывал ее в воздух, привлекал ее внимание всякими звуками, и т. п. Иногда это срабатывало, она переставала фокусироваться на запахах и могла существовать по-другому, но часто он чувствовал, что у него ничего не выходит, и она брала верх над ним. Он считал, что такое поведение не дает ему установить контакт с ней, а ей вступить в контакт с ним. Он сравнивал это с алкоголем. Те, кто злоупотреблял им, заняты только тем, чтобы достать алкоголь, подготовиться к выпивке, выпить и лежать в муках, оттого что выпили. Это поведение тоже препятствовало контакту, было так же трудно пробиться к человеку.

Позднее, в школьные годы, папа научил девочку, нюхать кончики пальцев и держать их под носом: вместо того, чтобы всюду совать нос. Это не так беспокоило окружающих, хотя учителя иногда приходили в отчаяние от такого поведения.

Чувство вкуса тоже заслуживает отдельного упоминания. Часто она фокусировалась на том, что можно было грызть и глотать. До пяти лет девочке давали то, что ей нужно было есть, и она ела. У нее не было чувства голода, и она редко приходила есть сама, но ей было нетрудно угодить. После, пяти лет она застревала на каком-либо вкусовом ощущении, например на вкусе оладьев, и ни за что не хотела есть ничего другого. Целый год она питалась плохо, потому что отказывалась от всего, кроме оладьев и пила только кофе с молоком и сахаром. Болели зубы, мама приходила в отчаяние. Мама прибегала к разным уловкам, не давала девочке есть, но ничего не добились. Девочке нравилось это: она могла все время видеть вокруг мамы красивые цвета, они танцевали и кружились, одна вереница картин сменяла другую. Ей нравилось то, что, по мнению мамы, не должно было нравиться, и мама прекращала свои эксперименты. Мама пыталась поощрить ее — она держала перед ней кофе и давала ей кофе, только когда та проглатывала кусочек хлеба, какой-нибудь овощ или что-то еще, что мама считала нужным дать ей. Тогда девочка теряла интерес к кофе и отказывалась пить вообще или проглатывала то, что давала мама, а в следующее мгновение ее рвало, и у мамы опускались руки.

То, что девочка совала в рот, заслуживает отдельного рассказа. Когда надвигается пустота и девочка не приводит в движение внутренние чувства, что-то оказывается в поле зрения, и желание впитаться в это зубами, засунуть это в рот становится таким сильным, что она не может противиться ему, кидается на это, хватается и тащит в рот. Иногда девочка интуитивно понимает, что этого делать нельзя, она рефлекторно избегает вмешательства взрослых, ждет или проходит мимо, или придумывает стратегию, чтобы достичь желаемого. Это неосознаваемое поведение проистекает из какого-то сверхчувства, которое ведет к действию, это не имеет отношения к сознанию, но окружающие так не считают. Девочку наказывали, когда она кусала то, что нельзя кусать, — маленьких детей или какого-нибудь взрослого, который не успел защититься, но наказание не имело смысла, потому что она не знала, за что ее наказывают. У девочки не было реакции на то, что только что случилось, это было всего лишь способом достичь движения и жизни внутри нее, и не имело никакого конкретного смысла.

Ирис возвращалась в обычное состояние; как только она добивалась внутреннего движения в своем мире, начинало происходить множество внешних вещей, которые приводили в движение внутренний мир. Папа много размышлял об этом непонятном поведении: она казалась такой расчетливой и хитрой, могла создавать самые сложные ситуации и преодолевать многие препятствия без малейшего страха или чувства самосохранения и совершенно не думала о последствиях. Она легко могла вывести из строя любого наблюдающего за ней взрослого и оказаться в самых рискованных ситуациях, и все же казалась ужасно глупой и интеллектуально недоразвитой. Она была в каком-то смысле младенцем и в то же время законченной обманщицей, которая разрабатывала самые сложные стратегии, чтобы достичь своих неблагоприятных целей. Это не укладывалось у него в голове, он не знал, смеяться ему или плакать, он не имел представления, как реагировать на такое поведение. Он боялся, что она не сможет жить среди людей, он хотел, чтобы она приобрела опыт реальности и стала адекватной: этого ей как раз и не доставало. Он часто спрашивал других: «Что мне делать с этой девчонкой? Никак не пойму!»

Голоса были веселые. Они становились причудливыми картинками в воздухе, приобретали разные цветовые оттенки и складывались в узоры, которые постоянно менялись. Если картин было сразу много, становилось неинтересно, но если они шли одна за другой, девочка могла сидеть и смотреть на каждую часами. Когда она сидела под столом, она могла видеть форму того, кто говорил. Каждый из домочадцев имел определенную форму, которую легко можно было узнать, несмотря на то, что она все время менялась. Это было похоже на картину с размытыми красками, которые растекались в разные стороны и создавали новые

узоры, в зависимости от того, в какую сторону наклоняли картину.

Кто-то замечал, что она сидит под столом, и вытаскивал ее оттуда: «Ты должна сидеть за столом». Ирис не хотела, она была словно натянутая стальная пружина, выворачивалась спиралью, скалила зубы и издавала нечленораздельные звуки. При малейшей возможности она кусала и царапала руки, которые держали ее. Она хотела только вырваться. Сердце колотилось, отдаваясь стуком в голове. Цвета превращались в язычки пламени, которые пожирали ее, и все это становилось невыносимым. Приходила чернота, тьма, которая отделяла ее от всего остального, исчезало все неприятное, и с ней можно было делать все, что угодно. Ее сажали на колени, и она сидела апатично и безвольно.

Когда ее спускали, ноги начинали машинально идти. Она шла, пока не находила свободного пространства на полу, на котором можно было ходить кругами. Она начинала делать круги, пока что-то снова не привлекало ее внимание, например радио. Когда оно начинало передавать особого рода музыку, она выходила из пустоты и возвращалась в свое обычное состояние.

Папа знал, что она все слышит и понимает, но не мог добиться адекватного сознания, коммуникации, присутствия, как у остальных людей. Он не мог понять, от чего это зависит, но он думал, что, если заинтересовать ее и поиграть с ней, это может получиться. Когда он сидел на своей скамеечке на скотном дворе и доил корову, он слушал какую-нибудь передачу по радио. Во время передачи он говорил с ней, что-то объяснял и комментировал. Она, казалось, совсем не реагировала, но позднее она могла ни с того ни с сего повторить то, что говорили в той или иной передаче и его комментарии. Казалось, она не могла связать это в какую-то последовательность, но это явно складывалось в ее памяти, и явно что-то напоминало ей об этом и запускало повторение. Он не видел здесь адекватной связи, но надеялся, что придет день, когда она сможет связать воедино эти звуки и то, что откладывается в памяти, со всем остальным. У Ирис было два состояния, связанных со слухом. Одно состояние: она слышала слова, и они притягивали ее — чудные звуки, которым человек своим ртом мог придавать форму и без конца произносить и слушать их. Иногда рот сам приходил в движение, и звуки и слова произносились сами. Тогда она слышала, как слова появлялись в воздухе и снова попадали в уши, и это было приятно. Тогда в голове начинался целый концерт, это было красиво и весело. Иногда слова были везде: люди, которые произносили слова, приспособления, из которых исходили слова, собственный рот, издававший звуки, и она слушала, и слушала, и слушала. Второе состояние вызывали звуки, которые можно было видеть. Тогда появлялись цвета и формы, они складывались в узоры в атмосфере, которые заполняли собой все.

Папа научил ее, что под определенную последовательность звуков можно двигаться. Сама она всегда двигалась под всякие звуки: качалась, прыгала, вертелась и т. п., но когда начинались определенные каскады звуков, кто-то мог схватить ее и закружить особым образом. Поскольку она так боялась прикосновений и так негативно реагировала на них, папа начал учить ее танцевать в возрасте шести лет. Он ставил пластинки на граммофон, брал ее, заставлял сосредоточиться на музыке, обхватывал ее руками и танцевал с ней. Он заставлял ее следовать довольно сложным ритмам, и ей нравилось, когда ее вели в танце. Вальс, фокстрот, танго и полька. Когда ему показалось, что она научилась следовать за ним, он разрешил другим брать ее и танцевать с нею, и она тоже повторяла за ними. Он считал, что это хорошее упражнение, и надеялся, что это поможет ей впредь не так негативно реагировать на прикосновение.

Зрение и видение занимали ее все время. Она смотрела и смотрела и видела вещи, и это радовало ее. Это наполняло почти все ее существование, и она не могла перестать видеть. Иногда это переполняло ее, она закрывала глаза ладонями и качалась вперед-назад, иногда она топала ногами и вертелась, чтобы перестать видеть, но это не помогало. Из того, что она видела, почти ничего не было связано с реальными вещами и повседневной реальностью. Она видела чувства, которые двигались вокруг нее, она видела мысли, явления и события. Она замечала все, что было там, куда она направлялась: она не могла сказать, что это, но знала,

потому что узнавала. Она видела, как вещи расставлены на столе, в комнате, как разные люди (не рассматривая их в человеческом аспекте), сидели вокруг стола, что говорил каждый из них, что они, говорили друг другу, и все, что происходило, она видела. Как Ирис была «Ирис» как объект, так и все, что она видела вокруг себя, было объектами, расположенными в ряд или громоздившимися один на другом.

Многие пытались заставить ее вести себя адекватно, кто-нибудь восклицал: «Ирис, посмотри, видишь в окне косулю?», «Посмотри, Ирис! Взгляни на звезды на небе, как красиво они светят!»

Она смотрела и видела, но не могла разделить реальность других, разделить ее с кем-то другим, хотя она была там и видела и слышала все, но не могла ответить или подать знак, что она участвует в коммуникации. Как будто становилось темно и пусто, как только кто-то пытался втянуть ее в общую атмосферу. Иногда становилось только странно и непонятно, словно ожидание в пустоте.

«Ирис, послушай, какая красивая музыка!»

Она слушала, но только краем уха, не фокусируясь на этом, снаружи это выглядело так, как будто это ей совершенно неинтересно, и она не может оценить это и направить чувства и переживания по обычному пути, подумать, например, что что-то красивое. Эта система совершенно не работала.

Мир Ирис был в каком-то отношении, особенно снаружи, очень сложным и все же изнутри очень простым. Этот парадокс трудно описать и понять: как что-то может быть абсолютно понятным, но становится непостижимым при соприкосновении с другими. В определенном плане, на определенном уровне, на этапе наблюдения все было хорошо развитым, но как только это должно было привести к деятельности, событию, последствию, функции, все оборачивалось странными старыми стереотипами, иррациональным поведением и непонятным нагромождением слов. Это несколько не смущало Ирис, но для окружающих людей это было испытанием. Особенно потому, что она была такой беспомощной в повседневной жизни. Она не могла сама одеться или даже сообразить, что это зависит от погоды. Не могла взять еду, если была голодна, голод не подавал сигналов, что ей нужно поесть, когда приходило время. Ни защититься от опасности, несколько раз она лизала скурит, разъедающее вещество, и сжигала слизистую оболочку во рту. Обжигала себе руки, на них образовывались уродливые раны, сдиралась кожа, она натирала себе ноги до крови. За ней нужен был постоянный присмотр, и это утруждало, и беспокоило окружающих.

Однако со временем она стала функционировать более адекватно. Она, например, спокойно играла с детьми по несколько часов и вдруг убегала и исчезала где-нибудь, так, что приходилось, собирать людей на ее поиски, а она при этом продолжала находиться в своем мире. Очень помогал пес, который постоянно караулил ее и часто лаял, если что-то вызывало его реакцию. Ирис подавала признаки беспокойства, когда ей нужно было в туалет, и уже не так часто мочилась в штаны; когда она выказывала беспокойство, оказывалось, что она замерзла или перегрелась, можно было догадаться о ее нуждах, хотя она все еще не выражала, их адекватным образом.

В шестилетнем возрасте что-то изменилось — она начала по-другому вести себя по отношению к брату. Было видно, что она интересуется тем, где он находится, и ходила за ним. К этому, времени она также перестала кричать, и ситуация стала более нормальной. Было видно, что она стала понимать многое из того, что, по мнению окружающих, ей было недоступно раньше, например, что изображено на картинках в книжках, и как обращаться с некоторыми игрушками.

Школьные годы не принесли ничего нового. Сначала она сидела рядом с братом день за днем и рассматривала те прекрасные виды, которые разворачивались перед ней. Там были маленькие иллюстрации с буквами на отдельном листе: «0,о», вокруг лазили обезьянки. Это выглядело так забавно, и она выудила, что эта буква называется «О», как в слове «обезьяна», и она видела этого маленького зверька каждый раз, когда она видела эту букву. Так было и с остальными буквами, они были связаны с тем, что изображено на картинке. Ирис не

понимала, что они должны быть абстрактными символами, которые потом будут составлять различные слова, это тянулось примерно до четырнадцати лет, пока она наконец не поняла, какой они имеют смысл.

Она выучила наизусть псалмы. Каждый из них писали на доске в течение пары недель, и каждое утро дети пели их, а учительница аккомпанировала. Ирис не пела, но она выучила слова и играла с ними внутри себя, они проходили в ее голове как длинные картины, и она составляла из них самые забавные сочетания. Когда несколько лет спустя она должна была проходить конфирмацию, она могла прочесть наизусть все псалмы, которые встречались ей за годы обучения в школе, не понимая их религиозного содержания. Как это было связано с такой абстракцией, как невидимый Бог, который тем или иным образом влияет на мысли, события и поступки людей, не укладывалось у нее в голове. Однако священник одобрил ее усилия, ему понравилось, как она читала их, опираясь на свое собственное представление о том, что в них говорилось.

Она научилась определенным действиям: вставать по утрам каждый день, надевать определенную одежду, носить ее определенным образом, есть и отправляться в школу, входить в раздевалку. Кто-то говорил: «Вешай свою одежду», и через мгновение она могла последовать этой команде, она не понимала, что это значит, но в ее мире это были туфли, пальто и шапка, которые нужно было снимать. Нужно было встать, кто-то говорил: «Доброе утро!», дети отвечали: «Доброе утро!» Она не отвечала, но она ждала этого каждый день. Потом нужно было сесть на стул и сидеть тихо. Прошло какое-то время, прежде чем она научилась не шуметь, и поскольку она всегда шумела и Водила дружбу со своими собственными звуками, было странно не слышать их. Папа научил ее, что для того, чтобы остаться в школе, она должна шуметь внутри, а не снаружи, и она научилась этому. Она сидела там, шумела внутри и не беспокоила других, и ее оставили.

Так же было и со звонком — с колокольчиком, в который звонила учительница. Как только раздавался звон колокольчика, дети начинали двигаться, они убегали из класса. Сначала она ничего не понимала, но через несколько месяцев она поняла, что означает этот звук: если человек находится в классе, он должен выйти из класса, а если он в коридоре, нужно войти в класс. Нельзя сказать, что эта мысль пришла ей в голову или это срабатывало, когда вокруг никого не было, но пассивно она это знала. Часто бывало так, что где-то внутри себя она знала, что имеется в виду, что означает та или иная вещь, но она не могла совершить какого-то адекватного действия, которое соответствовало бы этому пониманию или показывало бы, что она понимает.

Так было с вопросами. Кто-то спрашивал ее о чем-то и часто, если это было что-то повседневное, обычное, она, в сущности понимала, о чем ее спрашивают, но она никогда не знала, что нужно делать с этим, и начинала танцевать, вертеться, нести всякую чепуху или кричать. Это состояние внутри нее, когда вещи не связывались естественным образом, только совершенно случайно, нельзя было упорядочить. Прошло много лет, прежде чем она научилась останавливаться и управлять вещами, так что они связывались разумным образом.

Эти первые полгода в школе, где она сидела только для спокойствия брата, были чудесным временем. Ее никто не трогал, никто не докучал ей вопросами и требованиями, в то же время она участвовала во всех удивительных вещах, которые происходили в школе в течение дня. Ее мир значительно обогатился, появились совершенно новые картины, с которыми можно было играть внутри. Дети хорошо знали ее, потому что многие из них после школы играли с братом дома, во дворе, выходили с ней из школы, следили за тем, чтобы она одевалась как следует, разрешали ей стоять рядом и смотреть, как они играют, смотрели, чтобы она вошла в дом, когда приходило время расходиться, и т. п.

Это время закончилось. Она опять стала сидеть дома, и все навыки, которые она приобрела в школе, исчезли. Девочка попала в темноту, в пустоту, утратила радость, все побуждения исчезли. Она стала писаться, часто сидела на корточках и размахивала руками, пряталась, пропадала где-то. Папа был обеспокоен, потому что он не понимал, в чем дело, чего ей не хватает, он думал, что, может быть, и хорошо еще на полгода освободиться от всех

этих обстоятельных ритуалов, потому что потом придется идти в школу и ходить туда много лет. Юн часто спрашивал: «Ирис, что с тобой? Что нам с тобой делать? Сейчас ты приносишь нам столько же хлопот, как в то время, когда ты была совсем маленькой, опять у нас с тобой ничего не получается?!» Ирис не могла ответить, в ее мире не было никаких ответов, там была только пустота, иона не знала, чего ей не хватает, знала только, что внутри пустота. Полгода прошло, пришло лето, и все дети снова стали проводить целые дни во дворе дома. И тогда к девочке вернулись ее навыки. Она перестала писаться и убегать, она сидела рядом с играющими или в гуще детей, а они играли вокруг нее, и, казалось, жизнь снова наладилась. Ее протестировали на предмет готовности к школе, и нашли недоразвитой. Она не отвечала, когда к ней обращались, не выполняла предложенных заданий, была невнимательна и пассивна. Папа объяснял, что если бы ему позволили сделать это своим способом, они бы получили ответы на свои вопросы и увидели бы, что у нее нет нарушений в развитии, хотя у нее есть масса странностей, и, прежде чем войти в контакт, ей нужно проделать определенные ритуалы. У него ничего не вышло. Они не хотели получить результат таким способом, они сказали, что ответы оказались бы слишком субъективными, и тогда они не смогли бы узнать, где папин перевод, а где истинные знания девочки.

Они считали, что ей нужно идти во вспомогательный класс в городскую школу, но папа отказался. Он заявил, что девочка целиком зависит от привычной среды, и все знают ее особенности и не обращают на них внимания, в противном случае она испугается, забеспокоится, и нельзя будет установить с ней контакт. Он представил себе девочку в новой среде, с новыми чужими взрослыми и детьми, он понимал, что это было бы катастрофой, и он ответил: «Есть закон, гласящий, что все дети должны ходить в школу, но в нем ничего не сказано о том, чему дети должны научиться, поэтому она может ходить в обычную школу. Даже если она ничему не научится, она все равно может сидеть в первом классе до окончания обязательной школы, но она не должна попасть в чужую среду». Так и вышло, девочка пошла в обычную школу, и, хотя она не могла добиться приемлемого результата, ее каждый раз переводили в следующий класс.

В школе несколько классов учились в одной классной комнате, и, когда она начала учиться, все дети, которых она встречала раньше, были в классе. Это было хорошо, потому что они снова стали «пасти» ее и говорить ей: «Повесь свои вещи», «Одевайся», «Выходи», «Входи» и т. п. Ее брат тоже был там, и он смотрел, чтобы она не уходила от него и не исчезала по дороге в школу или домой.

С первого по четвертый класс Ирис находилась в своем «ирис-состоянии». То есть она, не раздумывая, следовала старым командам и учила новые. Она могла; выучить текст наизусть и повторять за кем-то, как попугай. Брат много занимался с ней дома, и она овладела этим навыком. Она могла посмотреть в чужую тетрадь и списать. Она очень хорошо научилась делать это, так хорошо, что делала те же самые ошибки, как тот, у кого она списывала. Для нее не существовало букв, которые складывались в слова, доступные для понимания, был только увлекательный рисунок, который один человек мог срисовать у другого.

Окружающий мир по-прежнему представлял собой разные объекты, с которыми Ирис вступала в контакт. Ирис тоже была объектом «Ирис», у нее не было никакого самосознания. Папа решил, что пора вырабатывать его, он ставил ее перед зеркалом платяного шкафа и упражнялся с ней. Она стояла рядом, а он стоял перед зеркалом, показывал на себя и говорил, говорил, говорил, описывая себя, говорил: «Я», «Я», «Я», когда же он понимал, что Ирис запомнила эти слова и это ей интересно, он договаривался с ней, что они будут заниматься вместе. Так начинались упражнения.

Он ставил Ирис перед зеркалом и учил ее смотреть на себя. Он говорил, и говорил, пока не понимал, что она получила относительно цельное представление о том, что в зеркале человек, что она может посмотреть на себя и это не вызывает у нее слишком неприятных чувств. Он заставлял ее произносить слово «Я» и показывать на себя. Она должна была показывать на разные части тела и говорить что-то об этом. Часто он говорил первым, но после полугода занятий она научилась говорить о себе вещи, которые не были попугайским

подражанием, а имели какой-то смысл. Это приносило ему глубокую радость, потому что это значило, что у девочки появилась новая связь с реальностью, с социумом. Он показывал ей на другие «я» и на всех, кто говорил о себе «Я» в разных ситуациях. Он раз за разом терпеливо доводил это до ее сознания, стремясь к тому, чтобы потом она смогла справляться сама. Он учил ее понятию «ты», «вы» и т. д. В течение четырех лет он держал это в центре внимания, и в одиннадцать лет произошло нечто, открывшее новое сознание, открылись шлюзы и пустили ее в общий поток социальной жизни.

Папа приходил и брал Ирис, подбрасывал ее в воздух, кружил, играл и возился с ней, пока она не разогреется. Потом папа и Ирис входили в гардеробную, и Ирис вставала и видела перед собой картину. Картина шевелилась, совершала массу странных движений. Иногда она приближалась и становилась неприятной, иногда забавной. Папа говорил и говорил, слова лились из него, и это было так приятно, в воздухе появлялись красивые картины, и вся ситуация была такой приятной. Папа ставил девочку рядом с собой и смотрел на картинку в зеркале. Ирис нужно было стоять смирно, она должна была смотреть, а папа говорил про «я, я, я». В конце концов «Я» начинало звучать приятно, «Я» было красным и круглым, издавало мерцающий свет и, могло менять цвета. Тогда папа начинал говорить, что нужно делать. Ирис подчинялась, стояла, как говорил папа, делала, что хотел папа, потом папа уставал, и тогда они выходили.

Так продолжалось изо дня в день, и это были приятные минуты для девочки. Она привыкла к тому, что это должно происходить, и если этого не происходило, она начинала беспокоиться и вести себя деструктивно. Ирис держалась за несколько узнаваемых ситуаций, к которым она привыкла, они были приятными, а неприятные не оставляли следа, у нее не было никакого чувства, пока они не происходили, она не ждала их, каждый раз они заставляли ее врасплох, и она реагировала на них стереотипиями и «вспышками». «Перестань капризничать», — обычно говорила мама, хотя это никогда не помогало.

Пятый класс, новая школа, новый учитель. В первые четыре года у класса было две разных учительницы, и обе испытывали крайне неприятные ощущения от того, как вела себя девочка. Одна из них сказала папе, что, как ей кажется, в девочку вселился дьявол, потому что иногда она глядела на учительницу с пугающей ненавистью.

Папа был атеистом и весьма критично относился к всякого рода оккультизму, и сказал учительнице, что если она не прекратит нести такую ахинею, он поставит в известность директора. Обязательная школа не может держать учителя, который боится детей, которых он поставлен учить. Кроме того, новая школьная реформа строилась на естественнонаучной основе и школа была отделена от церкви, даже если она все еще опиралась на христианское мировоззрение.

Обе учительницы пытались настаивать на переводе Ирис в специализированную школу в городе, но папа отказывался, и специальная комиссия не сочла перевод необходимым, посчитав, что ей совсем неплохо и в обычной школе. Таким образом, дело было прекращено, и никаких проверок больше не проводилось.

Новый учитель сказал Ирис, что он решительно ничего не понимает в ее трудностях, что он слишком стар, и в его время этому не учили, но он понимает, что у нее тяжелая форма дислексии, и она не может читать и писать. Он еще сказал, что, может быть, придумает способ научить ее и в любом случае будет ставить ей отметки.

Началось хорошее время. Ирис посадили на первый ряд, чуть сбоку от учительского стола, так что учитель говорил, стоя прямо перед ней. Он проходил все гораздо подробнее, чем нужно было другим детям, но он считал, что им от этого только польза, потому что они получают более глубокие знания, и им легче делать домашние задания. Он знал, что девочка не может делать уроки, но он отправлял домашние записки, где было написано, что точно нужно знать, и они занимались с ней дома. На уроке математики он писал цифры, чтобы она могла списывать их, а когда другие работали над своими заданиями, он садился на стул рядом с ней, показывал в учебнике примеры и говорил ей писать их снова и снова, потому что он полагал, что со временем какие-то знания закрепятся у нее в голове, хотя казалось, что этого

никогда не будет.

Когда задавали сочинение, она что-то писала в своей тетради. Это было нагромождение букв, которые ни она, ни учитель не могли разобрать. Она брала свою тетрадь, становилась рядом с учителем и придумывала что-то, а он записывал за ней. Потом она шла с этой тетрадью на свое место, списывала (или, скорее, срисовывала) это и сдавала учителю. Он говорил, что это, без всякого сомнения, ее сочинение, ведь сначала она писала его сама, потом сама пересказывала написанное, потом сама списывала; получалась хорошая работа, и он спокойно мог выставить за нее четверку.

На каждом экзамене учитель сидел с Ирис в хозяйственном помещении. Перед ней лежал листок с вопросами, другой был у учителя. Он читал, что там было написано, рассказывал ей и формулировал вопросы разными способами, придумывал истории, которые могли дать ей путеводные нити и пытался разговаривать с ней. Часто ему удавалось вытянуть из нее кое-что, имевшее отношение к вопросу, тогда он быстро записывал это. Когда все вопросы были таким образом проработаны, она получала листок и списывала все, что он написал ей. Так продолжалось на каждом экзамене, и учитель со спокойной совестью ставил ей четверку.

Нельзя утверждать, что девочка особенно развилась в интеллектуальном отношении за время обучения в пятом классе. Она по-прежнему не могла следовать прямым инструкциям и нельзя было ожидать от нее, что она сама, без напоминания, снимет или наденет верхнюю одежду, пойдет в столовую, или встанет в очередь, если никто не даст ей указаний. Напротив, иногда у нее бывали «вспышки» или она дольше застревала в стереотипиях.

Наступили летние каникулы, и все дети, которые раньше собирались на нашем дворе, выросли, приехали на лето дети из городов, в окрестных дворах появились трудные подростки из специальных школ, но все свободное время они проводили у нас, приходили девушки, которые интересовались дядями Ирис, они катались на лошадях, участвовали в уборке клевера, многие приходили из-за мальчиков, но у них всегда был удобный предлог — покататься на лошадях.

Это лето было не похоже на другие. Мы уже не играли так, как раньше. Юноши собирались в кружок и разговаривали о чем-то, чего девочка не могла понять. Раньше все были как бы в одной атмосфере. Девочка могла рассматривать картины и входить в них, сидя за столом в коровнике или на мешке с сеном, свернувшись на сеновале или в какой-нибудь машине. Она сидела в комбайне или на коленях у кого-нибудь на тракторе, она сидела с папой на его скамеечке на скотном дворе, и т. д., но теперь этого как будто больше не было.

Она шла к папе и спрашивала: «Что они делают?» Он долго думал, кто такие «они» и что «они» делают. Прошло две недели, она повторяла эту фразу снова и снова, и, наконец, он услышал ее, проследил за ее взглядом и понял, о чем она спрашивает. Он был радостно удивлен, там стояли юноша и девушка, они смотрели друг другу в глаза, говорили о чем-то, улыбались и, казалось, были влюблены друг в друга, и папа понял, что Ирис заинтересовали люди и контакт.

Он тотчас начал рассказывать ей о том, как все устроено в жизни, об отношениях мужчины и женщины, о рождении детей, но от этого девочка не становилась умнее. Она только смотрела на них и говорила свое: «Что они делают?» Папа прекратил свои объяснения и начал размышлять, как сделать так, чтобы она поняла это. Он воспользовался своей старой стратегией, зеркалом, ведь, благодаря зеркалу, она стала немного понимать о «я», «ты», «мы», и он научил ее видеть себя саму и свое тело и надеялся, что зеркало поможет ей понять и это.

«Посмотри, как делают эти девочки, потом подойди к зеркалу и потренируйся делать так же, и, может быть, у тебя появится какое-то ощущение того, что они делают».

Девочка стала подходить ближе и принималась бесцеремонно глазеть на парочки, которые оказывались в ее поле зрения. Часто они злились на нее, но каждый раз ей удавалось что-то подсмотреть, тогда она подходила к зеркалу и упражнялась. Она смотрела на себя, ближе, ближе, в глаза и видела только множество вещей в атмосфере и застревала на этом. Папа входил и замечал, что она снова потеряла себя, и начинал показывать «ты» и «я», пока

она не возвращалась обратно. Он спрашивал, как делают другие девочки, и она показывала. Потихоньку у нее получалось «делать так же», у нее не появилось никакого ощущения того, как нужно это делать, но у нее получалось выглядеть, как обычные девушки. Папа узнавал, у кого она брала то или иное поведение и часто покатывался от хохота, но он понимал, что никто не догадается, что это только имитация, и он поощрял ее к дальнейшим упражнениям.

Целый год она продолжала упражняться, потом папа решил, что пора «выходить» и проверять свое умение на практике. Она получила задание попробовать свои чары на окрестных мальчиках и принялась за его выполнение. Они только стонали и спрашивали, что за глупости взбрели ей в голову. Однажды в гости пришла одна семья, там был один юноша, и Ирис исполнила весь свой репертуар. Он заинтересовался ею, и они немного «поиграли», но он захотел поймать ее и поцеловать, и тут включилось старое поведение, ведь она освоила только первую ступень и не знала, что делать, когда она приведет к желаемому результату.

Папа считал, что очень трудно, с одной стороны, научить Ирис обычным образцам социального поведения, ритуалам и т. д., и, с другой стороны, ей самой научиться нормам, кодам и тончайшим нюансам совместной игры с противоположным полом, где девушка должна знать, когда следует сказать: «Нет». Этой игре в кошки-мышки невозможно научить того, у кого нет хороших знаний о коммуникации между людьми. Он был вынужден придумать какую-то разновидность кода, которому бы она легко могла следовать.

Танцевать девочку научили рано, и, танцуя, она принимала близость, примирялась с тем, что кто-то держит ее, привыкала к этому и позволяла вести себя в танце. Папа решил, что она должна поехать с «мальчиками», т. е. с тремя дядьями и с трудными подростками из окрестных дворов, на танцы. Мама вынула одежду, одела ее нарядно и модно, обратила ее внимание на внешний вид, сказала ей, как вести себя красиво. У мамы было хорошо развито чувство прекрасного, она могла судить о цветах и моделях, и она видела, что подходит Ирис.

Изнутри мир казался Ирис новым. Не то чтобы старый мир перестал существовать, но казалось, что он каким-то образом изменился. Она не знала, что это было, но он стал таким же суетливым и запутанным. Раньше она искала какой-нибудь уголок, качели, место, где она могла смотреть по-своему, сидеть и по-своему участвовать в происходящем, в сущности не включаясь в него, и входила в состояние «здесь и теперь», но это больше не получалось, это было неинтересно, как будто какой-то магнит притягивал ее все ближе и ближе к этому запутанному, суетливому и болезненному состоянию, которое было невыносимо, в котором нельзя было оставаться и из которого нельзя было исчезнуть.

Наступила осень, начались занятия в школе. Все было таким же и в то же время другим. Внутри нее было что-то, совершенно новое, что-то непонятное, которое все время влекло ее в атмосферу другого. Это становилось противным и внушало страх. Ее, мир, который, был светлым, наполнился демонами, черными и пугающими. У нее появилось новое поведение, «вспышки», иного рода, с ней стало трудно, она снова лишилась возможности управлять своим поведением.

В школе дела шли лучше. Атмосфера учителя была такой чудесной, такой спокойной, такой умиротворяющей. Он стоял перед ней, и из его рта, текли слова, слова, которые создавали красивейшие картины и узоры, наполняли все ее существо, будили ее чувства, она словно снова оказывалась дома. Она стала все лучше и лучше отвечать на уроках. Не сразу, она что-то бормотала с минуту, он улавливал и формулировал главное, и это было правильным и понятным для нее.

Перемены стали другими, все по-прежнему выходило из класса, она тоже, но в коридоре происходила эта девчоночья-мальчишечья игра, где девочки, важничали, а мальчики поддразнивали их, это было, тоскливо и тяжело для нее. Тогда она шла к младшим мальчикам, они все еще часто играли вместе, в футбол и другие игры, и она могла быть с ними и по-своему участвовать — они играли вокруг нее. Мальчишки обнаружили, что она хорошо бьет в цель, и когда они играли в гандбол, они ставили ее напротив цели, и она била по мячу.

У девочки начался переходный возраст. Она выросла физически, у нее появилась грудь, начались менструации, изменилось сознание. Мама объяснила ей, что такое спать с кем-то,

что это значит, что от этого могут появиться дети. Она объясняла и объясняла, показывала на женщин с большими животами, показывала на младенцев. У Ирис не было никаких чувств по этому поводу, ей казалось, что это ее не касается, но она предчувствовала, что скоро ей нужно будет это знать.

Когда ей было девять лет, у нее появился младший брат, а она тогда неприязненно относилась к маленьким детям. Папа учил ее держать ребенка на коленях, носить его, смотреть на него, пока неприятные чувства и стереотипы не исчезнут. У нее не появилось никакого непосредственного чувства или отношения к ребенку, но, казалось, она начала проявлять интерес к явлению, которое она держала на коленях. Ребенок рос, и девочка подражала ему. В какой-то степени она была «близнецом» этого малыша, она была в той же атмосфере, видела его в формах и цвете, и это открывало что-то новое внутри нее, в то же время она спокойно попадала в свое обычное состояние и оставалась «внутри-снаружи».

В двенадцать лет она поняла, что такое смерть. До того, как это случилось, в ее мире не было постоянных людей, они приходили и уходили, и не имело никакого значения, живут они или нет, для нее они были, если она видела их, иначе их не существовало в ее мире. Память не функционировала, не предоставляла никаких собственных импульсов и связей, только при внешнем напоминании люди возникали снова.

Смерть означала, что человек вышел из тела и больше не вернулся в него. Что человека хоронят в гробу на погосте и он больше не живет в своей комнате. Как раз тогда с промежутком в полгода умерли ее бабушка и дедушка по отцу, и четыре старых соседа тоже умерли. Ирис заинтересовалась тем, что связано со смертью. То, что происходило вокруг, было так странно. Все плакали и надевали черные одежды, нельзя было смеяться, нельзя было кричать, даже громко разговаривать. Потом все проходило, будто человека никогда не существовало.

Ирис поняла, что то, что связано со смертью, в каком-то смысле важно. Что это меняет всю жизнь. Она пыталась уразуметь это, но это было трудно. Она задавала вопросы, но они отвечали так, что она не могла понять. В ее мир постепенно входило знание о начале жизни: начало было, когда рождался теленок, он был совсем маленьким, потом он жил, и все кончалось, когда он умирал. Животных зарезали и съедали, но людей просто закапывали, ничего, с ними не делая. Однажды она услышала, что бык забодал человека, и он умер, это была смерть, о которой девочка впервые стала думать, такие вещи происходили нечасто, собственно, это был единственный случай, когда все так испугались.

Долгое время ее занимала мысль о смерти, она говорила о смерти, сидела и смотрела на кладбище, на надгробные камни и пыталась постигнуть это. Она все больше и больше понимала о человеке, о человеческом, что человек отличается от всего остального, и что нужно думать по-особому, когда дело касается людей. Это понимание приводило ее в замешательство, она не знала, откуда оно пришло, она не знала, как относиться к нему. Это было трудно, непонятно, болезненно и тягостно, и все-таки ее влекло к этому особому миру.

Однажды она сидела на церковной ограде и размышляла о том, почему люди продолжают ссориться друг с другом. Они произносили слова, которые причиняли другому боль, она видела это, иногда люди становились совершенно черными внутри, иногда красными, иногда совершенно пустыми и мертвыми. Она понимала, что и тот, кто произносил слова, и тот, кто слышал их, становились больными внутри. Она спросила папу, что это, и почему люди такие. Он ответил, что они враги. Эти «враги» стало ключевым словом в ее мире. Ирис размышляла над этим словом «враги»: почему нужно быть врагами, из-за чего люди становятся врагами и что они делают друг с другом, когда они враги. Она обнаруживала врагов повсюду и удивлялась, что у большинства людей был кто-то, кто был им врагом, иногда все время, иногда изредка. Она не могла понять, как люди могут быть врагами, когда они знают, что умрут, перестанут быть, потеряют свой образ. И что пользы будет в том, что они были врагами, не разговаривали друг с другом, а если разговаривали, то говорили обидные слова?

Иногда вокруг кого-то атмосфера становилась черной, хотя для этого не было причин, и

от этого становились врагами, но часто что-то было с самого начала, как будто кто-то хотел, чтобы человек стал врагом, именно это было для нее непостижимым.

Когда она сидела на своей церковной ограде, она думала, что гораздо проще быть «внутри-снаружи», чем мыслить, как все люди, она сидела и думала, что она может выбрать: остаться в своем «состоянии» и махнуть рукой на обычный мир, со всем его смертями и другими людьми, но в то же время она думала, что «если люди сейчас так глупы, что становятся врагами, ей нужно быть среди людей, чтобы сказать им, чтобы они перестали быть врагами, потому что они все равно умрут, и то, из-за чего они стали врагами, не будет иметь никакого значения».

Она сделала выбор остаться в этом сложном, тягостном, невыносимом человеческом состоянии, хотя, как она поняла гораздо позже, у нее не было выбора. Папа уже успел возбудить в ней интерес к коммуникации — отношениям — контакту с другими людьми, так что у нее появилась настоящая потребность, нужда в контакте с другими людьми, и хотела она того или нет, она не могла перестать интересоваться внешним, повседневной реальностью, этой социализацией, которая для нее была сопряжена с такими трудностями и тяготами.

После этого ее сознание стало устремляться к социальной жизни, и она начала искать всякого возможного знания о человеческом. Она стала повторять все, что делали другие, чтобы возбудить чувства, или установить связь между мыслью, языком, чувством, поступком. Она стала принуждать себя к присутствию в реальной ситуации, и это получалось, только если она могла составить в своей голове некое представление. В ней по-настоящему проснулось осознание обычной реальности, и она решила больше не быть в мире «внутри-снаружи». Это было великое решение, которое означало, что она впервые в жизни задала себе направление, в котором нужно двигаться, и это изменило всю ее жизнь и все ее существо.

Очень трудно социализироваться, если ты не имеешь ни малейшего понятия, что это такое. Наблюдать и тренироваться, упражняться, упражняться, упражняться, делать так же, и, может быть, в лучшем случае добиться какого-то автоматизма. Самое сложное, что такие понятия как опыт, воля, мотивация и т. п. не воссоздаются внутри, они становятся массой пустот и иррациональностей, нужно заставлять себя все продумывать в голове и создавать структуры, которым потом следуешь. Иногда как будто пытаешься вспомнить то, чего не существует, можно вспомнить, что чего-то нет, но нельзя вспомнить, что представляет собой то, чего нет.

Ирис развила в себе суперстрасть к наблюдению. Она связывала все между небом и землей и делала из этого новые выводы. Она слушала, учила наизусть и повторяла раз за разом, пока не приходило понимание. Она начала видеть между строк, но редко, что написано в самих строках. Она понимала вещи не в каких-то рамках, но свободно, творчески, как художник, который создает свою собственную картину из впечатления, которое он получил.

Она не могла адаптироваться к обычному социуму, потому что в нем люди испытывают совершенно иные чувства, чем те, на которые она была способна, но она развила знания-чувства и могла относиться к другим, делать так же, как они, и, в глазах других, была почти нормальной. У нее ушло около десяти лет на то, чтобы достичь приемлемого уровня, и это потребовало огромного великодушия от человека, который был ее спутником и помогал ей, когда ее одолевали трудности.

Снаружи: — состояние там или здесь «Введение в большую тайну»

Когда вы будете читать эти строки, забудьте все, что вы знаете о том, что обычно называют нормальным. Я нормальная, но у меня было множество переживаний, которые нельзя классифицировать с каузальной, естественнонаучной точки зрения. Пусть логика или то, что мои слова не подкреплены доказательствами, не мешает вам. Отправьтесь со мной в фантастическое, головокружительное путешествие в мир моего детства и испытайте внутри

себя чувство узнавания. Я уверена, что нам всем доступно это измерение с самого начала, но рано, очень рано для окружающих нас взрослых становится важным, чтобы мы укоренились в той части реальности, которая не привлекает внимания, и так забываются знания о мире беспредельности, мире без времени и места.

Я не позволила себе закрепиться в этой реальности, я не понимала ее и не понимала, что я должна понять, поэтому моя родина была там, где я ощущала мир. Это состояние было светлым и ярким, я была внутри себя или снаружи, скорее я была везде, я уплывала туда, куда было направлено мое внимание и попадала внутрь этого. Мир моих мыслей простирался всюду.

Если я начну объяснять или отстаивать мои переживания, мой рассказ потеряет экзистенциальный смысл, который лежит вне мышления «правильно-неправильно», поэтому оставьте сомнения за обложкой книги и возвращайтесь к ним, когда прочтете последнюю страницу. То, что не затронет вас, отпадет, а если что-то затронет вас, это сдвинет рычаги вашей памяти, и вы почувствуете тот глубокий внутренний мир, который вы давно покинули.

Эти переживания подобны ветру: когда ветер дует, вы чувствуете это или видите его действие, когда на деревьях шелестит листва. Когда же он унимается, вы не чувствуете ни малейшего дуновения, но вы знаете, что ветер существует, что в любой момент может разразиться ураган.

Подобно тому как ветер не является истинным или ложным, так и то, что я пишу, не такой природы, то, что я пишу, как ветер: можно почувствовать дуновение, и каждый знает, что внутри нас, людей, существует внутренняя, невидимая глубина, которую трудно как следует понять, но все равно мы узнаём ее.

Этот внутренне-внешний мир, который я называла настоящим миром, отличался от обычного мира прежде всего тем, что в этом мире я понимала на уровне знания гораздо больше, чем обычно понимают люди. Моя проблема состояла в том, что у меня не было никакого канала, чтобы трансформировать это в культуру и социальность обычного мира, я вообще не понимала, что другие не входят в этот настоящий мир и, что я по-настоящему не вхожу в обычный мир, что мои «фантазии» непонятны другим и, что они пугают их. Мой папа научил меня, что нельзя рассказывать об этом мире где угодно и как угодно, что он должен быть внутри. Я говорила «снаружи» об этом мире, а он говорил: «Внутри», я знала, что это одно и то же, поэтому не имело значения, что они назывались по-разному. Я не понимала, когда и где я не должна говорить о нем, поэтому я болтала все время, но окружающие отмахивались от моих слов, как от фантазий, и никто не слушал меня.

Парадокс заключается в том, что в этом внутреннем мире я обладала огромным богатством, которое было непередаваемым, едва доступным для меня самой, и, во всяком случае, не выразимым посредством языка. Речь идет о первичном мышлении — мышлении, которое происходит без слов и предложений, своеобразном знании, которое существует целиком, и которое потом может возвращаться и всплывать, снова и снова, но которое никогда автоматически не переходит в слова. К тому же оно все время меняется и обогащается. Сначала всплывает довольно, общая большая картина, вокруг которой я двигаюсь словно смотрю в камеру с широкоугольным объективом, хотя я не наблюдаю, а участвую в этой картине, а потом камера может увеличить любую мелкую деталь целого; и я вхожу в нее. Тогда меняется перспектива, все приближается и увеличивается. Перспектива Мальчика-с-пальчика. меняется на перспективу Гулливера, потом на нормальные пропорции, и все существует одновременно. Нет никаких границ, никакой изнанки, ни начала, ни конца в этой реальности, это настоящее, которое может менять форму все время.

В этом измерении нет конкретной реальности, оно совершенно нематериально, нельзя превратить его в продукт, и поэтому оно так не развито в нашей цивилизации, так что человеку даже удастся вытеснить его существование. Мне было почти сорок лет, когда я смогла рассказать и передать это словами так, чтобы можно было понять. Мой друг Ёран Грип побуждал меня вспоминать и рассказывать, и благодаря ему я теперь могу облечь в слова и передать маленькую частицу этой стороны жизни и мира.

Тихо, совсем тихо. Я чувствую свое тело. Начинает покалывать пальцы на ногах и на руках. Удовольствие разливается по всему телу. Вскоре меня охватывает какой-то восторг, и тогда я выхожу из тела. Я выхожу из него и, немного отойдя от него, оборачиваюсь. Я вижу, как я сижу на качелях совсем тихо и блаженно улыбаюсь. Та, которая сидит там, выглядит приятно расслабленной, как будто она погрузилась в глубокое раздумье. Сначала я бесцельно скольжу вокруг. Я парю в нескольких метрах от земли. Я смотрю на наш дом и вижу там людей. Я плыву над двором и встречаю мир. Я знаю и чувствую всё, и в то же время ничего не чувствую. Когда я радуюсь, Я знаю это, но это не ощущается, как в обычном теле. Я знаю обо всех моих чувствах, но как будто я только думаю об этом. Тело в каком-то смысле само по себе. Это так приятно, все можно перенести и нет никакой угрозы. Я не пропаду, что бы ни случилось. Вот я, и это происходит вечно, бесконечно, и все одновременно.

Показываются две фигуры. Это существа, которых я обычно встречаю. Они подходят ближе. Я хорошо знаю их. Это Слире и Скюдде. Мы смотрим друг на друга. Мы не говорим слов, как обычные люди, потому что мы видим друг друга насквозь. Мы можем жонглировать мыслями, прятать и переворачивать их, чтобы другие отгадывали их как загадки. Двое ждут, пока третий прячет. Разговор идет о мире и о том, что мы будем делать. У Слире светлые волосы и живые голубые глаза. У него всегда полно идей, и он хочет делать все сразу. Он горячий и немного беспокойный. У Скюдде темные волосы и серьезные карие глаза. В его глазах грусть и мудрость, как будто он знает все о зле мира, но все равно верит в жизнь. Он теплый, надежный и заботливый. Я знаю, что когда я с ними, жизнь наполнена и истинна, я понимаю все, и нет ничего неприятного. Нет ничего несовершенного и бессмысленного, как будто всякая тоска и огорчения исчезают. Они могут существовать только в теле и каким-то образом причинять ему боль.

Теперь я с моими друзьями. Мы плывем, кувыркаемся, играем в ребусы с мыслями. Мы взмываем вверх, так что мое тело превращается в малюсенькую точку, и снова падаем вниз. Вверх и вниз, вверх и вниз. Мы обнимаемся и шумим, кувыркаемся и просто существуем. Иногда Слире отбрасывает от себя мысли, я ловлю их, жонглирую ими, ношусь с ними и размышляю. Опять обратно, новый заход, пока я не почувствую, что поймала то, что мне хочется. Я вижу и понимаю то, чего я раньше не понимала, и так весело узнавать это. Все так ясно и понятно, когда думает Слире. Скюдде показывает мне мысли по-другому, и я знаю, что есть только один ответ. Скюдде показывает, что пора возвращаться домой. Мне не хочется, совсем не хочется. Он осторожно подталкивает меня к качелям и показывает, что мое тело ждет и жаждет чего-то. Он показывает, что ждет меня, когда я только пожелаю, но теперь мне надо возвращаться. Прежде чем возвратиться, я должна немного подразниться. Я «впрыгиваю» в свое тело и вижу другое тело. Оно такое же, только прозрачное. Тогда я прыгаю назад и вижу себя сидящей на качелях. Скюдде опять показывает, что я должна вернуться. На мгновение я оказываюсь между двумя своими телами и чувствую, как будто у меня совершенно ничего нет, что я только мысль, мне легко и странно, я пытаюсь остаться там, но меня «засасывает» в тело, и все исчезает.

Во дворе у меня есть несколько любимых мест. В моем внутреннем мире шел постоянный поиск таких мест, одним из них были качели. Они висели на гигантском клене, у них были длинные канаты и широкое удобное сиденье. Можно было раскататься и взлететь очень высоко, и движение длилось долго-долго. Оттуда меня стаскивали, заставляли есть, а когда все ритуалы заканчивались, я бежала к качелям. Часто говорили, что я странный ребенок, ведь я могла сидеть там часами, ничего не делая.

Осень. Солнце светит, и пахнет зрелыми хлебами. За скотным двором стоит старая сеноворошилка. Ее используют, чтобы собирать сено в валки. Однажды, когда я сидела на ней, я... Эту историю можно было бы и не рассказывать, но я все-таки расскажу.

У сеноворошилки выдолбленное сиденье, и оно крепко сидит на пружинящей стальной пластинке. Можно использовать его как качели, это было одно из моих любимых мест. У нас было четыре лошади: Свеа, Бленда, Дорис и Кукте-Роген. Кукте-Рогена звали так, потому что когда он был маленьким, у него начались колики, он умирал, тогда ему сварили рожь, чтобы

ему не разорвало желудок. Мне кажется, он хорошо реагировал на клейковину.

Оставалась неделя до середины лета и стояла жуткая жара. Мы все должны были выехать в поле сгребать сено, чтобы убрать его побыстрее. Я очень любила, когда наступало время уборки сена, потому что все в доме оживлялись, все вокруг светилось лучами, которые сплетались друг с другом и образовывали красивые фигуры.

Я села верхом на Бленду, мой дядя сел на сиденье сеноворошилки. Когда мы выехали в поле, он завел машину, и лошадь пошла, борозда за бороздой, туда и обратно. Я сидела там, и медленно менялось все вокруг меня.

Появились Слире и Скюдде. Мы начали кружиться вокруг лошадей и играть в «скольжение». Мы пытались плыть как можно ближе к лошади, но не проходить через нее. Это было трудно, потому что лошадь все время двигалась и махала хвостом и гривой, чтобы отогнать слепней, которые хотели укусить ее. Потом мы перенеслись к сеноворошилке. У нее была масса зубцов, как у вил, которые поднимались и опускались и сгребали сено. Было чудесно прицепиться к такому зубцу и скользить, скользить вверх и вниз, вверх и вниз, вокруг как будто зажигались красивые фейерверки. Мы играли в «делай, как Йен», я была между Слире и Скюдде и должна была понять, что нужно делать, я радовалась и хотела, чтобы это длилось вечно. Вдруг все прекратилось. Я почувствовала, как сильные руки сняли меня с лошади. Кто-то сказал:

— Ирис, ты опять описалась, почему ты не можешь предупредить, чтобы мы остановились, как другие дети?

— Я кружилась со Слире и Скюдде.

— Опять ты за свои фантазии, ты хоть научись тому, что умеют, маленькие дети, чтобы ненужно было все время смотреть за тобой. Я часто рассказывала о моих переживаниях и использовала все слова, которые я знала. Я думала, что мои переживания и рассказы точно передают, как все было, но люди часто говорили мне, что это только фантазии, что этот ребенок не в себе, он постоянно рассказывает странные истории, из которых ровно ничего нельзя понять.

Бывало, все боялись, что пойдет дождь и помешает убирать сено, никто из взрослых не успевал сесть на сеноворошилку, и они поступали не так, как обычно. Меня сажали на лошадь, и я должна была поворачивать ее, когда кончится ряд. Лошадь стояла спокойно, и если никто не держал вожжи или никто, кроме меня, не сидел на ней, она послушно шла вперед и назад, пока не кончалось поле. Это было идеальное положение вещей для меня, меня надолго оставляли в покое, я, сама не зная того, приносила пользу, другим нравилось это, они были довольны мной. Мир менялся в этом монотонном шаге верхом на лошади.

Я смотрела на мир по ту сторону поля. Там росли хлеба. Они были зеленые и волновались, как воды. Меня влекло туда, уносило к этому движению. Ветер шелестел в ушах, гладил лицо, и легко-легко я понеслась над полем. Воздух заблестел, как будто везде было, серебро, он мерцал и сверкал. Появились мои друзья. Один пришел с одной стороны, как маленький тайфун, другой, как длинная полоса. На свету я видела, кто был кто: тайфун был темным — это был Скюдде, полоса была светлой, как лен, — это был Слире. В поле зрения попало множество любопытных вещей. Они всегда приносили их с собой. Мы летали из стороны в сторону, растопырив руки и ноги, так чтобы все время касаться животами хлебов, казалось, что нас несет по мягкой волне. Мир как будто был раскрыт, и мы были внутри. Было щекотно, и я смеялась, у меня закружилась голова, и я дико завывала, было так чудесно...

«Что ты кричишь? Тебя что, слепень ужалил или еще кто-нибудь?» Это был мой дядя, который явно услышал меня и забеспокоился. Я замолчала, и лошадь потрусилась дальше. Через несколько минут в поле зрения попало что-то еще, я вошла в это и возникло новое переживание.

Свеа была самой старой и коварной из всех лошадей. Она могла ущипнуть, когда ей вздумается, так что нужно было смотреть в оба. Бленда была младшей, самой веселой и послушной, на нее меня и посадили. Мне нужно было сидеть на лошади, пока она, трусила по прокосам, это наполняло меня покоем и давало мне иное ощущение присутствия, чем все

остальное. Так часто бывало с животными, собаками, кошками, телятами и лошадьми, иногда и со свиньями, они впускали меня в некое присутствие, в котором мне никогда не удавалось быть с людьми, разве что на короткое мгновение, как будто они не тыкали в меня и тем самым не делали мне больно. Это казалось совершенно очевидным и естественным, внутри меня возникала радость, это было ощущение жизни, лишённое неприятных чувств, которые я всегда испытывала в других ситуациях.

Я сидела на лошади, и каждый раз, когда лошадь доходила до края поля, там появлялся кто-нибудь из взрослых и подводил ее к новому ряду. Я выходила из своего состояния «снаружи» и возвращалась, к обычному. Я пребывала в обычном состоянии, пока он снова не отпускал меня, тогда обычный мир исчезал и настоящий мир приходил снова. Если я падала с лошади, а это иногда случалось, она останавливалась и ждала, пока кто-нибудь подойдет и посадит меня на нее.

«Что ты падаешь на ровном месте, спишь что ли?» Я рассказывала, что я только что скатилась с облака, и по нему было так мягко катиться, что я не могла остановиться и забыла, что мне нужно взобраться на него снова. «Теперь сиди как следует и больше не падай». Дядя уходил, а я опять возвращалась в настоящий мир.

Покачиваюсь, покачиваюсь на тихом ходу. Мир менял сущность. Воздух как будто обнимал меня и уносил прочь. Все вокруг меня приобрело иной смысл. Бленда стала светиться. Я видела, как спокойно и тихо она идет, но она словно парила, над землей, она стала прозрачной, как сказочная, лошадь. Я смотрела на свое другое тело, оно танцевало, кружилось, как маленький тайфун. Это выглядело так странно. Оно начиналось как маленькая серая полоса, идущая вдоль поля, расширялось, превращалось в круг, и в середине его была Ирис, ее лицо, оно застыло неподвижно и только светилось, но тонкая прозрачная оболочка вокруг тела, крутилась, как тайфун. Все остальное стояло неподвижно, оно было светлым, ярко-голубым, красивым и чарующим. Тайфун несся над пейзажем, и пейзаж все время менялся. То поля и луга, то березовая роща, то большие-темные леса, горы и долины, в более глубоких тонах и более тяжелых, потом море и скалы, они переливались всеми тончайшими красно-лиловыми оттенками, которые только можно себе представить. Внутри было легко. Тело смеялось и радовалось.

«Ирис, Ирис! Где ты, у тебя такой отсутствующий вид!» — один из моих дядей схватил лошадь и легонько встряхнул меня. Тогда мои глаза как будто поменяли положение. Я видела лошадь, его, землю, и небо, но по-другому. Лошадь пошла по другому ряду, и я снова оказалась в другом измерении.

Когда наступил вечер, или когда поле было готово, кто-то вспрыгнул на сеноворошилку и повел лошадь домой.

Я осталась сидеть на лошади. Я слышала, как кто-то свистит и поет. Вокруг меня возникло множество световых язычков. Было красиво, и возникло множество узоров. Они исчезли и меня сняли с лошади. «Иди на кухню, ужин готов».

Я стояла там, где стояла, я не понимала, что то, что выходило изо рта дяди, имело отношение ко мне. Он вышел из конюшни, куда поставил лошадь, и начал бранить меня, потому что я все еще стояла на месте. Темнело, световые язычки вокруг него окрашивались в более глубокие тона, а я стояла и смотрела, я писала, ногам стало тепло и приятно, я словно немного поднялась в воздух, я стояла там и чувствовала это. Дядя очень рассердился, и световой узор стал еще более чарующим. Он быстро подошёл ко мне, схватил меня за руку и потащил меня в дом. Он сказал: «Опять неудачно получилось». Мать повела меня в умывальную комнату и жесткими руками сняла с меня всю одежду. Она все время ворчала, что со мной нет сладу, что у нее даже не получилось научить меня говорить заранее, когда я хочу писать.

Люди были такие странные, они продолжали делать массу вещей и пытались заставить меня делать так же, но я никогда не знала что и как, знала только, что вокруг много людей, которые иногда мешали, иногда были веселы, они делали мой мир светлым. У людей, как у животных, была особая динамика, сила, которая двигалась и наполняла меня по-другому,

нежели вещи. Вещи стояли неподвижно и вокруг них был свет, вокруг каких-то вещей приятный, вокруг других бессмысленный, но они просто были и представляли собой неподвижную картину, чаще всего неинтересную.

Вокруг меня было столько цветов и оттенков, что моя жизнь постоянно наполнялась новым материалом, и мне не нужно было ничего для этого делать.

Матери приходилось мыть меня перед едой. Я часто входила в дом вся перепачканная, я каталась в глине, купалась в одежде в пруду, зарывалась в садовую землю и т. п. Один мой вид причинял ей страдание. Мои светлые волосы были измазаны, спутаны и торчали во все стороны. Она ставила меня в бадью в погребе и лила на меня воду.

Когда я стояла там и тепловатая вода стекала по мне, мир наполнялся блестками. Как будто я оказывалась среди звезд. Я кружилась и ловила их, кидала и опять...

Гнев матери делал атмосферу темной. Я чувствовала ее жесткие руки, и щетка, которой она терла меня, скребла мне кожу. Боль, боль, приятная боль, она уносила меня далеко-далеко... словно длинный, светлый, красный туннель, я влетаю прямо в него и он движется быстро, становится тепло и щекотно.

Снова мать, я слышу ее голос: «Ты можешь хоть раз сделать, как тебя просят?» Голос создает световые язычки, которые вырываются изо рта матери и окутывают меня. Я хватаю их и связываю, получаются красивые банты, переливающиеся множеством пестрых оттенков. Они тают каждый раз, когда новые световые языки выходят из ее рта. Я смеюсь, она сердится все больше и больше, в конце концов она идет и пронзительным голосом зовет папу и говорит ему, чтобы он занялся этим безнадежным ребенком, иначе будет беда.

Я стояла голая в бадье, вошел папа, он посмотрел на меня теплым взглядом, вытащил полотенце и закутал меня в него. Он сел на ступеньки, посадил меня на колени и зашептал мне в ухо: «Малышка Ирис, маленькая-маленькая Ирис, тебе нужно одеться, сейчас мы тебя оденем».

И он одевал меня. Мои руки, ноги и голова крутились в разные стороны, получались забавные фигуры, и мне нравилось, когда мои руки и ноги запутывались в одежде и папиных руках. Он держал меня, иногда довольно крепко, чтобы вдеть руку в рукав, а ногу в штанину. Я смеялась и разбрасывала все, что могла, но он всегда оказывался сильнее. Еще он мог сказать: «Стой!», тогда я успокаивалась, и он мог одеть меня без моей помощи. Когда я становилась словно изваяние, я оказывалась внутри айсберга. Было холодно, висело множество сосулек. Было красиво и тихо. Ничто не двигалось, и я стояла как статуя. Все кончалось, когда папа поднимал меня, подбрасывал в воздух, щекотал меня и нес к столу.

Папа сажал меня рядом с собой, и я сползала под стол. Он выуживал меня, клал еду на тарелку и уговаривал меня: «Ешь!»

Я начинала механически засовывать в себя то, что лежало на тарелке. Мой брат дразнил меня, показывал на меня и шумел, у него начиналась «вспышка», и кто-нибудь уносил меня. Это случалось часто. Меня оставляли в комнате, и я начинала кружить по полу и разговаривать сама с собой.

Осенью все машины ставили в сарай, и там стояла сеноворошилка. Я залезала на нее с сеновала. Было почти темно, немного холодно и пахло пылью. Я находила сеноворошилку и залезала на нее. Седло было холодное, но, немного покачавшись, я переставала чувствовать это.

Я звала Слере. Он приходил, словно вихрь, и хотел играть в «превращения». Мы расплывались и становились широкими, мы вытягивались и становились длинными, мы раздувались и становились совсем круглыми, мы тянули друг друга, пока не становились совершенно кривыми, и все время смеялись. Мы были словно в Лисеберге, в комнате смеха, это были мы, но мы выглядели глупо. Скюдде приходил и присоединялся к нам, но он почему-то никогда не становился кривым. Мы тянули его в разные стороны, но он сохранял свою форму.

Это было так странно. В настоящем мире я точно знала, как все выглядит, каким все является в действительности, но в обычном мире это знание исчезало, и я переставала видеть

все таким, какое оно, есть. Внутри все понятно, но не получается использовать это, потому что все становится таким незнакомым и странным. Так трудно объяснить: что-то есть, но в то же самое время его нет. Как это может быть? Это нельзя понять, но все же это так. Кроме того, это знание не ведет к тому, что я могу выполнить что-либо осознанно. Я вижу и слышу, но не происходит ничего, что могло бы «запустить» действие.

Я была в Лисеберге несколько раз, там было так чудесно. Все крутилось, и вокруг всех людей, которые были там, можно было видеть самые причудливые образования и фигуры. Мы с папой катались на волшебном поезде, внутри которого были лампы, огни их двигались, бежали вверх и вниз, в стороны, они перемещались множеством странных способов.

Мы ехали в вагоне и выезжали на солнечный свет, я говорила: «Еще, еще!», и отец проезжал со мной много кругов, пока я не переставала говорить «Еще!» Обычно я особенно не волновалась, каждый раз по мне не было видно, что это приносит мне радость, и он думал, как жаль, что меня не трогают все эти веселые развлечения, которые есть в Лисеберге. Он катался со мной почти на всех каруселях, а я была в своем мире, и ему казалось, что мне все равно.

Радость вообще была тем чувством, которое я выражала довольно естественным способом. Я часто смеялась, помногу и охотно, иногда окружающие понимали, почему я смеюсь, но часто радость приходила совершенно неожиданно, и никто не мог увидеть вокруг ничего забавного.

«Она ужасно смешливая, не понимаю, над чем, она смеется», — так говорил один из моих дядей, Свен, который часто комментировал мои вспышки радости. Они нравились ему, он любил, когда я была в таком состоянии. Он терпеть не мог, когда я кричала, и не выдерживал этих звуков. Он давал множество советов, как заставить меня замолчать, но все знали, что какие-то особенные приемы очень редко помогают, только случайно я переставала кричать от того, что делали другие. Меня уносили на улицу или в комнату, которую можно было закрыть, чтобы другие могли продолжить разговор.

Часто бывало, что я «плавала» вокруг и участвовала во всем по-своему, но окружающие никогда не понимали этого. Они считали, что я снаружи или сама по себе, и мой отец решил, что я не должна надолго оставаться одна, он думал, что от этого у меня появлялось странное поведение, которое окружающие не выносили. Он брал меня с собой во многих случаях, когда это было не опасно, или представлялась хоть малейшая возможность, он умел обращаться с моими странностями и заставить других быть снисходительными к ним, он следил, чтобы мое поведение не слишком мешало другим. Или он объяснял им, что я немного другая, или следил, чтобы я не так выделялась.

Однажды мой брат пропал в Лисеберге. Был большой переполох. Дело в том, что мать отвечала за брата, а отец за меня. Брат обычно лип к матери, как пластырь, так что ей никогда не нужно было беспокоиться о том, где он или что его нет рядом. Я, напротив, совершенно не понимала, что мне нужно держаться рядом со взрослыми, я шла прямо туда, куда вел меня сиюминутный интерес, и совершенно не боялась, что меня бросят, потеряют или оставят одну.

Брат был в залах с игровыми автоматами и был совершенно заморожен ими. Он остался, а остальные пошли дальше. Через полчаса отец спросил о нем, и тут обнаружилось, что его нет. Начались беготня и поиски. Мне казалось это забавным. Все бросились в разные стороны, чтобы потом встретиться в каком-то месте. Вокруг каждого было темное поле, и это было торжественно. Поиски продолжались, и все встречались снова и снова. Вдруг раздалось имя моего брата, все посмотрели друг на друга и кинулись к выходу. Там стоял мой брат, заплаканный и испуганный. В конце концов, его взял на свое попечение служитель, и когда у него спросили, кто он, он назвал имена тех, кто пришел с ним, чтобы нас могли найти. Веселье закончилось, мы вышли и сели в трамвай.

В трамвае было весело, он трясся, и возникало такое странное чувство, иногда он скрипел, что-то громко скрежетало, это был такой чудесный звук. Я ждала, ждала и вдруг раздавался звук, и я смеялась. Если была возможность, я ползала по полу, ложилась и слушала и тряслась, было так чудесно, потому что я вплеталась в звук и чувство, и не хотела выходить. Иногда меня поднимали и выносили, а иногда я закатывала истерику, когда меня пытались

забрать. Было такое прекрасное чувство, оно причиняло такую боль, было невыносимо, когда оно обрывалось.

Я «взмывала» в воздух. Трамвай превращался в комнату с прозрачными занавесами. Стены становились прозрачными, и комната становилась все больше и больше. Слире «входил» через крышу и поднимал ее высоко-высоко. Комната становилась огромной, Скюдде сидел рядом со мной прямо на полу. Звучало слово «билет»: когда оно выходило из чьего-нибудь рта, оно превращалось в темно-синюю фигуру. Папа говорил его, когда мы вошли в вагон, водитель говорил его, те, кто сидел в вагоне, мама и папа говорили об этом слове. Мы жонглировали словом, «перебрасывались» им, оно превращалось в картинку и исчезало. Мы летали от окна к окну. Их было так много, и они шли по всему вагону, во все стороны, впереди и сзади было лишь несколько окон, но по бокам было много. Трамвай ехал быстрее и быстрее, как карусель в Лисеберге.

«Вставай, мы приехали, нужно выходить». — Я попадала в суматоху, и это была очень неприятная минута. Папа поднимал меня, и я бессильно повисала на его плече. Мы выходили на Вокзальной площади и шли пешком к родственникам.

Дом, в котором мы жили, был из камня, и длинная извивающаяся каменная лестница вела на пятый этаж. Я стремительно выскакивала на лестничную клетку. Я любила скакать по ступенькам вверх и вниз, выглядывать за перила и бросать мое другое тело в лестничный пролет. Было так чудесно носиться вверх и вниз, скользя по перилам, и пускать их все быстрее и быстрее. Слире, Скюдде и я двигались вместе, как длинная лента, и мы металась вниз и вверх, вниз и вверх. Все останавливалось, и мы падали вниз медленно-медленно, и прутья, поддерживающие перила, превращались в длинные вытянутые колышки, которые проплывали мимо. Они были в завитках, и вдруг мы начинали извиваться вместе с ними. Получались крючки, круги, спирали и т. п. Все происходило медленно, мы словно вырывались из одного витка, устремлялись к следующему, проходили через него и летели вниз, вниз, вниз или вверх, вверх, вверх.

«Ирис, Ирис, иди есть, Ирис, ты здесь?», — младший ребенок в семье, мальчик, выходил из квартиры и искал меня. Я сидела на ступеньке, прислонившись лбом к перилам, они были такие прохладные и приятные. Мы входили в дом. Мама спрашивала мальчика: «Где она была?»

Не дождавшись ответа, она говорила: «Ты только посмотри на себя! У тебя совершенно красный лоб, и ты знаешь, что тебе нельзя сидеть на холодной ступеньке, у тебя опять будет воспаление мочевого пузыря. Глупая девчонка, никогда не может понять это!»

Несколько дней мы жили у других родственников, на другой стороне улицы. У них был «более изысканный» дом и огромная квартира. В ней жила бабушка, художница, на стенах ее комнаты висело множество удивительных картин и расписных тарелок. Я часто сидела, съевшись, за маленьким столом в углу и «влетала» в картины. Они превращались в целый мир с совершенно иными цветами, чем те, которые бывают в настоящем мире. Я словно оказывалась в парке аттракционов, все вокруг было яркое, множество драматических событий двигалось, застывало, двигалось снова. Это было не как на самом деле, а похоже на театр. Как будто цвета расплывались и создавали причудливые и иногда пугающие картины. Я пугалась, выбегала из комнаты, бросалась под кухонный стол, за которым сидела мама со своей сестрой. Я лежала там и дрожала, словно от холода.

Мама говорила: «Ну вот, всякие выдумки снова привели ее сюда, теперь она боится, лежит и стучит зубами, но это пройдет. Если ее вытащить оттуда, у нее будет истерика, так что оставим ее в покое».

Чуть позже я опять оказывалась в комнате. Там была ширма, и бабушка раздвигала ее. Внутри стояло пианино, за ним сидела девочка и занималась. Она играла красивые гаммы. Я застывала, словно в молитве, боялась дышать. Внутри было так приятно от этих звуков. Я «уплывала», и вся комната наполнялась светом и звуками, которые образовывали новые яркие световые язычки. Это было так приятно, что все мое существо словно охватывало пламя. Языки пламени лизали картины, и было так весело смотреть сквозь них, они все время

менялись от звуков.

Мама входила в комнату: «Вот ты где! Какое у тебя красное лицо, и глаза красные, как у кролика, ты случайно не больна?» Она шупала мой лоб и констатировала, что у меня нет температуры, но она говорила, что это все оттого, что я сидела на холодной ступеньке несколько дней назад.

В доме был лифт, наши родственники жили на четвертом этаже, и мы поднимались и спускались на лифте. Это было удивительное устройство, легкое, скрипучее, с несколькими зарешеченными дверями, которые нужно было закрыть, потом нажать на кнопку и ехать вверх или вниз, в зависимости от того, откуда ты едешь.

Раннее утро, все, кроме меня, спят. Я вышла в коридор, открыла тяжелую дверь, вошла в лифт и нажала на кнопку. Он вздрогнул. Я села под зеркалом. Кабина была красивая, с деревянными стенами и дверями в железных завитушках, в зеркале отражалась противоположная деревянная стена. Езда в лифте была как красивое движение, и я сидела там. Хлоп, он остановился и замер, настоящий мир исчез, я поднялась, нажала на самую нижнюю кнопку, быстро села и поехала снова. Так я ездила вверх и вниз и попадала в мою атмосферу. Другое тело выходило через решетку на следующий этаж, потом на следующий, то же самое происходило на пути вниз. Было так весело, нужно было выйти из лифта, когда он проезжал дверь на этаж, иначе «не считалось». Слире и Скюдде делали то же самое, они выходили вместе со мной, мы двигались вверх до следующей остановки и опять вниз.

Дверь квартиры родственников открылась, и кто-то выскочил на лестницу, потом на улицу, опять вошел и пошел наверх. Это произошло дважды. Вдруг лифт дернулся «не на той» остановке, остановился, и кто-то распахнул дверь: «Ты здесь, только этого не хватало, что за глупости ты опять придумала!»

Меня схватили за руку, рывком поставили на ноги и втащили в квартиру. Множество световых язычков вышло из всех, кто был там, и я услышала слова, которые я узнала: «беспокоиться», «нельзя», «что нам с тобой делать», «никогда» и т. п.

Трудно теперь понять и объяснить, но в моем мире было столько особенного, такого, о чем не расскажешь, как бы мне ни хотелось этого, и мне совершенно не понятно, почему я не была «там» все время.

Все сумки были уложены, и мы отправились на вокзал. Мы сидели в поезде долго-долго, пересели на другой поезд, а потом остановились на нашей станции. Во время поездки я сидела, съежившись, рядом с папой, повернув лицо к окну, «вылетала» из поезда и «ехала» рядом с ним, неслась между деревьями и домами, «облетала» все, что проходило за окном. Это была такая фантастическая ситуация — сидеть неподвижно и в то же время уноситься прочь. Иногда по дороге, идущей вдоль путей, проезжали машины, тогда мы «садились» на крышу, и, скользили, пока она не исчезала, дорога не делала поворот или машина не останавливалась у шлагбаума. Слире и Скюдде были там, они показывали мне что нужно делать, и я делала.

«Ирис, мы сейчас будем есть, повернись, возьми бутерброд».

Я сидела и в руке у меня что-то лежало, я смотрела и не понимала, что это и что мне нужно делать.

«Теперь ешь...» — Я продолжала с отсутствующим видом смотреть на то, что лежало у меня в руке. Папа взял бутерброд и поднес его к моему рту, сказал: «Открой рот», потом «Жуй», немного подождал и сказал — «Глотай». Тогда, я поняла и смогла есть, как обычно.

Когда мы вышли из поезда во второй раз, там стояла повозка, запряженная лошастью, меня подняли в повозку, и мы отправились домой. Через минуту появились Слире и Скюдде, и мы играли в «вертелки» вокруг лошадиных ног и выделявали в воздухе причудливые фигуры.

Дома на втором этаже жила бабушка. Вокруг; нее был такой странный свет. Теперь я знаю, что она всегда нервничала и беспокоилась. Она считала, что она грешница и окружающие должны осуждать ее, она боялась не успеть что-то сделать, боялась сказать что-нибудь не то, боялась, что кто-нибудь будет критиковать ее. Было весело сидеть в углу на ее кухне и смотреть на красивые картины вокруг нее. Когда кто-то подходил к ней, они

становились другими, весь узор менялся и становился живым, как змеи, которые обвивали друг друга. Иногда он был теплым, иногда холодным, это зависело от того, кто подходил к ней.

Я «раскачивалась и раскачивалась» между бабушкиными змеями. Я «крутилась» и «пробиралась» сквозь них. Вдруг все менялось, и я взмывала под крышу. Самым интересным было, когда меня ловила световая петля. Тогда можно было прицепиться к ней, она начинала двигаться тихо и медленно, и вдруг крутилась быстрее, как будто я кружилась на карусели, которая вращается во все стороны.

«Тебе нужно пойти поесть». — Бабушка брала меня за руку, поднимала и бормотала, что я сижу, будто приросла к стулу, и что мне вредно сидеть одной вместо того, чтобы играть с другими детьми. Другие дети и подростки были очень рады каждый раз, когда я пропадала где-нибудь в другом месте, тогда им не нужно было брать меня в игру, они могли спокойно играть и не следить за мной.

Играть с другими-детьми я так и не научилась. Я была с ними в том смысле, что я чувствовала себя окруженной множеством других детей. Там были мальчики всех возрастов, девочки, правда, не так много, и все моего возраста. Когда брат приходил из школы, он приводил с собой, по меньшей мере, десять мальчиков, и они играли в большие игры каждый день. Бывало, что игра продолжалась несколько дней, и у нее были очень сложные правила. Папа требовал, чтобы они брали меня в игру, и я часто сидела на стратегически видном месте, а они играли вокруг меня.

Мне это очень нравилось. Я сидела, сжавшись в комок, закутавшись в одежду, мешки или то, что мне попадалось под руку. Все те, кто бегал вокруг меня, кричали и смеялись, падали и ползали, составляли полную палитру света, цветов и линий в атмосфере. Из них создавались красивые фигуры, и я тихо «присасывалась» к ним. Вскоре я вступала в игру, носилась вокруг, «прицеплялась» к воротнику рубашки какого-нибудь бегущего мальчика и уносилась в резвом танце. Было так чудесно ощущать движение и время от времени проноситься сквозь толпу мальчиков, чтобы быстро «приземлиться» по другую сторону от них. Часто я бросалась в их гущу, это было, словно прыгать по льдинам, с одной на другую, снова назад, «прилипнуть» к штанине, к воротнику, к волосам или руке и кружиться, отпустить руку и отлететь в сторону, «нырнуть» обратно и «прицепиться» к новому месту.

Слышался голос: «Где Ирис?» — Мой брат останавливался и оглядывался по сторонам. Он давно уже забыл про меня. Он смотрел на сверток, который лежал в куче посреди площадки: «Там!»

Папа говорил, чтобы он пошел, поднял меня и привел есть. Он шел, а он терпеть не мог этого: я вечно портила все игры. Он бросал в меня комьями земли, я резко поднималась и шла в дом. Когда физическая боль вторгалась в мою реальность, и я не знала, откуда она исходит, я пугалась, атмосфера становилась черной и угрожающей, наполненной ужасными масками, которые строили мне рожи. Это было так гадко, что я кричала во все горло, у меня начиналась настоящая «вспышка», и окружающим требовались время и силы, чтобы вывести меня из нее. Никто не понимал, что со мной стряслось, и папа тоже, но если он приходил, и я слышала его голос, все страшные маски останавливались и застывали, чтобы тотчас же распасться на куски, и я снова возвращалась обратно.

Дедушке часто поручали брать меня с собой. Ему поручали чистить кухню, убирать двор, собирать фрукты, выкапывать картошку и делать другие дела для кухни. Он также вязал метлы, делал деревянные башмаки и штопал чулки. Когда я была с ним, было легко, потому что он часто забывал обо мне и пребывал в своем мире. Он напевал про себя или пел вслух, и в воздухе образовывались фигуры. Я шла и шла и... фигуры окружали меня. Мы «отлетали». От земли в небо, снова вниз и снова вверх. Было такое прекрасное чувство — «приземляться» в мягкую вату, «поворачивать» и «взмывать» вверх, как в замедленных съемках, «попадать в облака», чтобы остановиться, повернуть и спуститься вниз снова. Вверх и вниз, вверх и вниз...

«Ирис, вставай, нельзя спать на ходу». — Дедушка говорил со мной, и я видела, как

шевелиются его губы. Я вставала на ноги и шла за ним.

У дедушки тоже был свой мир. Он был светлым, и вокруг него всегда была цельная, теплая атмосфера. Он часто шел и мурлыкал себе под нос какую-нибудь грустную мелодию. Он никогда не сердился и не раздражался. Иногда он боялся, но это было не страшно. Больше всего он боялся бабушку, она обращала к нему такие гневные слова, что они разбивали всю его любовь. Ее осколки долго лежали у его ног, после того, как он получал нагоняй. Тогда он смотрел на меня горестным взглядом, но когда он видел мое лицо, эти осколки собирались вместе, и он опять излучал любовь. Он был радостным человеком. Он был доволен своей трудной жизнью, тем, что у него была такая замечательная жена, которая заботилась о доме и о детях, когда они были маленькими, и им не приходилось голодать. Он радовался тому, что он стар, что он может копать в земле, сидеть и курить сигару над бабушкиными цветами, чтобы уничтожить тлю, надевать жилет, чтобы вылечить простуду или чтобы встретить гостя.

Я часто сидела под его стулом, когда он «размышлял». Когда он сидел так недвижно и рассеянно, что случалось довольно часто, другие считали, что он погрузился в раздумья, но это было не так. Он сидел и уплывал в пространство чувств, которое я могла разделить с ним. Он не замечал меня, но я все время видела его. Он был таким красивым внетелесным существом. Белые, как мел, волосы, темные брови и светло-синие глаза. Он был тонким, почти тощим, и жилистым. На нем был прозрачный легкий оранжевый плащ. Иногда плащ менял цвет и становился бледно-желтым, тогда дедушка делался еще красивее. С ним было иначе, потому что у него не появлялось никаких мыслей, и нечего было перебросить ему. Слуре, Скюдде и я могли быть вокруг него, проноситься «сквозь него», и мы часто пытались заставить его играть с нами, но у нас никогда не получалось. Он просто был там и летал вокруг, как на летающем ковре.

Когда дедушка умер, атмосфера его внетелесного существа еще долго оставалась с нами. Иногда я могла «летать» в ней, когда я садилась под стулья, на которых он обычно сидел. К тому времени я поняла разницу между внешним и внутренним миром, но я не могла уразуметь, что он умер, потому что он существовал, и я могла видеть его.

Дедушка крал с дерева сливы для нас, детей. Бабушка не разрешала ему давать нам сливы, она варила из них варенье, компот и джем, и он обещал ей, но когда он сгребал траву вокруг фруктовых деревьев, он тряс дерево, и на землю падало множество слив. Он прятался за зарослями малины и подгребал к себе сливы, засовывал их в большие карманы своих синих штанов и, посвистывая, шел за сарай и созывал нас, детей.

Он давал каждому его порцию, я брала свою, шла и пряталась в беседке из зелени. Ее образовывали густые заросли сирени. Я находила пещеру в живой изгороди, которая становилась для меня хижинкой, там лежала куча старых листьев. Я садилась на нее, делала себе спинку из листьев и сидела, как в гамаке. Устроившись поудобней, я начинала смотреть на ветку, которая качалась из стороны в сторону, и вскоре я «проходила» через крону и «уносилась» прочь...

Сначала приходил Скюдде, он брал меня за руку и мы кружились немного. Это так весело: сначала ничего не видишь, или, вернее, все видится, как на картине, а потом смотришь на что-нибудь, и оно становится настоящим. Я смотрела на дымовую трубу и видела ворон, которые жили на ней. Мне было так интересно с ними. Им все было нипочем, и им было легко подражать. Мы взбирались на конек крыши, который мы и они занимали по очереди, мы говорили «кар-кар», чтобы создать цвета. Наше «кар-кар» выглядело по-другому, чем воронье. Их «кар-кар» было как мокрая веревка, которая выскакивала из их горла и разрезала пространство рядом с нами. У Скюдде получались особенные «кар-кар», они были другие, больше похожие на треснувшие пятна. Было интересней пытаться делать так, как он, но у нас не получалось.

Кап-кап... Ой, как я промокла. Пошел сильный дождь и просочился сквозь листву. Я поспешила домой. Мама отругала меня за то, что я промокла. Она дала мне сухую одежду, я заползла под шкаф со своими сливами и съела их.

Эмма была моей. Она называла меня своей маленькой голубкой и никогда не уставала

слушать меня. Она отличалась от всех людей, которых я знала. Она была словно подвижная субстанция, большая — большое теплое существо, которое заполняло весь мой мир. С ней я могла играть. Она брала меня, приподнимала, сажала к себе на колени, и я словно входила в гавань с теплой, пузырящейся водой. Я «купалась» в ней. Кувыркалась. Ее голос, хриплый и шершавый, звучал, как какая-то особенная музыка. Все наполнялось внутри меня и снаружи. Словно все было едино, я была во всем и в ней, вокруг нее, «проникала» сквозь нее, и она была со мной. Нам было так весело. Она смеялась и играла со мной. Я видела ее глаза, одновременно мутные и ясные, я «бросалась в них», словно проносила сквозь длинный-длинный прозрачный луч. Вдруг он раскрывался, и я оказывалась в море щупалец. Я видела руки и ноги, которые двигались вокруг меня, хватали меня, вели меня обратно в тело. Я снова выходила и попадала в другой луч, он исходил от звука: Эмма напевала что-то, и это превращалось в звездное небо, в фейерверк, словно я была окружена множеством искр, и я видела ее рот, откуда все исходило. Я «входила» в него, звуки «отбрасывали» меня, и я «уносилась прочь». Я поворачивалась, старалась попасть обратно, снова ныряла туда, чтобы тотчас быть выброшенной. Эмма подбрасывала меня в воздух, я смеялась, так что мои лучи света разбрызгивались и смешивались с лучами Эммы, и все начиналось снова.

Я проснулась. Я слышала, как Эмма сказала, что наступают сумерки. Я не знала, что это, но я знала, что она возьмет меня за руку, и мы выйдем из дома и пойдем в другой дом. Я знала, что сейчас, начнется что-то очень неприятное, и я не хотела идти, но Эмма осторожно вела меня туда, и я, в конце концов, подчинялась. Кто-то начинал дергать меня, срывать с меня одежду. Я кричала и защищалась. Руки, которые стаскивали с меня одежду, становились жестче, и голос, который я слышала, делал все вокруг меня темным. Словно я оказалась в темной пещере, там было холодно и пустынно, лицо, руки и ноги стали мокрыми, было такое ощущение, как будто я тону в темноте. Спустя мгновение стало пусто и одиноко, и было приятно просто ничего не делать, размахивать руками, идти и идти. Спустя еще мгновение теплые руки завернули, меня во что-то мягкое и теплое, и жизнь опять стала обычной.

Сильная тревога зашевелилась во мне. Эммы не было. Ее не было там, где она была раньше. Словно в воздухе образовалась пустота. Не было голоса, в который можно было влиться, не было рук, которые были такими особенными, и всего прочего, что было связано с ней. Она иногда была в атмосфере, но не так, как раньше. Раньше она была в двух мирах одновременно. Кроме папы, никто не был со мной в обоих мирах. Было так странно, как будто теперь в жизни была пустота. Я могла только жалобно стонать и качать головой. Тогда становилось немного спокойней, и приходили другие побуждения.

Я любила церковь. Старую церковь XI–XII века с самыми старыми в Швеции церковными часами. Я часто приходила туда и забиралась на подоконник. Там было чудное стекло, которое образовывало призмы, и мир напоминал движущуюся массу, которая прибывала и убывала. Я «входила» в этот движущийся мир, он был бутылочного цвета и красивый, как кристалл. Сначала пришел Слире, он покружился и оставил длинные серебристо-зелёные линии, из которых на небе образовались восьмерки, он кричал: «Иди за мной!» Пришел Скюдде и ждал меня. Я «пролетала» между ними, и мы кружились в резвом танце. Мир становился цветным, сверкающим всеми оттенками, прозрачным как лед, но не холодным, мы могли пролететь через него, и образовывалось множество кристаллов, которые после того, как мы «пролетали» мимо, снова сталкивались и получались новые узоры. Снаружи, внутри, новые узоры и цвета, впереди и сзади, мы все засмеялись, остановились, снова разбежались, кинулись вперед, и так много-много раз, пока я не почувствовала, как чьи-то руки схватили меня, спустили на пол и встряхнули. Привратник заметил меня.

Он должен был вырыть могилу, и он взял меня с собой. Я сидела на корточках на краю и смотрела. Вокруг него была такая чудесная атмосфера, он думал все время, и его мысли и фантазии были так ясно видны. Изнутри он был счастливым и радостным человеком, но он не очень хорошо вписывался в общество. Говорили, что он врет по любому поводу, даже тогда, когда нет никакого смысла врать. Говорили, что он врет так, что сам себе не верит, а кто-то заявил, что «врет он или не врет, никто точно сказать не может, но он не в ладах с правдой».

Кроме того, он выпивал тайком. Он почти всегда был под градусом. Вокруг него стоял особый запах, и он был как-то особенно возбужден.

Немного раскопав землю, он нашел какие-то черепа. Он поднял их, посмотрел на имена и возраст на надгробных камнях и начал рассказывать самые фантастические истории о людях, которые только можно было придумать. Он рассказывал о баронессах, которых соблазнили шуты, о помещиках, которые сражались на дуэлях, о девушке, которую увел фокусник, и юноше, который пошел за цыганским, табором и был проклят своей семьей.

Его рассказы могли принимать любые формы, было изумительно «входить» в них. Я «видела» всех этих людей в жизни, они были прозрачны по-другому, чем обычные люди, более живые. Они разговаривали друг с другом, я «видела» их фразы, которые плавали между ними, и я была с ними все время, а они не замечали меня. Они хранили много приключений, много тайн. Они ускользали, прятались, крались, вместе воровали минуты, и это было ужасно интересно. Жизнь всех заканчивалась внезапной смертью, и похороны их были собранием заговорщиков и празднеством. После рассказов сторожа мир разрастался, и я видела содержание жизни, я была там и жила, хотя я не являлась частью их реальности, это было совершенно удивительно, и ничего другого не было в моем мире.

«Ирис! Я закончил, и они кричат, что тебе нужно идти домой есть». — Он поставил меня на ноги, погладил меня по голове, повернул меня к небольшому проходу в стене, слегка похлопал по спине и сказал: «Ну, иди домой и поешь, приходи на другой день, я все равно сейчас поеду домой».

На другой день я сидела на хорах и смотрела на запрестольный образ. Это был человек, который висел на кресте, и вокруг было много страдающих людей. Я медленно раскачалась и «вошла» в картину и услышала всех, кто жалобно стонет. Это была тяжелая жалобная песнь, она была такая мощная. Я «вошла» в нее и «окуталась» внутренним миром множества людей. Там было так много жаркого страдания, кто-то страдал не так сильно (это были не те, которые висели на кресте), другие же хотели висеть там вместо того, чтобы стоять на земле, какие-то люди висели друг на друге и испытывали возбуждение, но все, все тянули жалобную песнь. Там были и другие люди, которые были совершенно черны внутри, горячей чернотой, потому что они были так опечалены, другие были пусты, совершенно пусты, как отверстия, в которые можно было войти и закружиться там, это было страшно, ни чувств, ни цветов, ни звуков. Я обычно опасалась этих отверстий, но иногда меня «засасывало» в них, и я не могла остановиться. Тогда становилось страшно, я падала обратно на хоры и снова «выходила наружу».

Каждый раз, когда я сидела так и «входила» в запрестольный образ, я переживала новые вещи, которые иногда оставались со мной надолго и занимали мои мысли. Я отсутствовала «внутри» иначе, чем когда, я была «снаружи». Словно особая жизнь шла внутри меня все время. Иногда кто-то «проникал» туда и устанавливал контакт со мной, и это было болезненно, потому что тогда приходило множество странных реакций, которые были такими непривычными и пугающими для меня. Я чувствовала, что воля другого давит на меня, и что я не могу понять ее. Окружающие пытались заставить меня делать множество вещей, которые вызывали неприятные чувства, болезненные чувства иного рода, имеющие отношение к телу. Словно дикие звери напали на меня, и я не могла защититься от них. Тогда я становилась как помешанная и начинала биться, лягаться, кусаться, царапаться, кричать и пытаться «вырваться» внутри себя. Кто-то из окружающих говорил, что у меня опять «припадок». Когда кто-то умирал, и его должны были похоронить, гроб ставили в специально предназначенном для этого сарае. Там он должен был стоять с открытой крышкой до похорон. Комната была закрыта, но маленькое окно часто было открыто. Это окно было расположено напротив церковной ограды и сарая для инструментов, который отстоял на метр от окна и загораживал его, чтобы никто не смотрел в него. Поскольку я часто бывала со сторожем, я видела это и знала, что когда окно открыто, в сарае стоит гроб. Где-то внутри меня была осторожность. Не то чтобы я думала, что я должна прятаться, но довольно часто я избегала взоров. Позади сарая для инструментов была небольшая переносная лестница. Она была

предназначена для того, чтобы сторож забирался на нее и менял номера псалмов во время мессы, но теперь у него была новая, более красивая, резная, так что старую он поставил за сарай с инструментами. Я притащила лестницу и забралась внутрь.

Я медленно залезла на край гроба. Я села и посмотрела на покойника. Я сидела там и смотрела, и смотрела, и начала говорить, длинные слова и предложения, они просто вытекали из меня, все слова, которые я знала, и я «играла» с ними и облачала их в разные формы. Они двигались и создавали новые узоры. Внутри меня все время возникали новые значения слов, и это было так торжественно. Человек в гробу оживал, смотрел вверх, улыбался, становился прозрачным и был со мной. Передо мной разворачивалась жизнь. Я видела человека маленьким ребенком во многих ситуациях, я видела его молодым, как он сталкивался с разными вещами в жизни. Это было, как фильм, но не совсем, потому что там не было ограниченного в пространстве полотна, на котором разворачивается действие. Я и человек в гробу были наблюдателями целой вереницы событий, но мы были и их участниками. Мне было спокойно с человеком, что бы ни происходило, а было множество страшных вещей — умирание, страдание и отчаяние, так же как и праздники, свадьба, любовь и веселье. До меня доносился звук, как будто кто-то кричал, я вздрагивала, осознавала, где я нахожусь, и ускользала так же незаметно, как забиралась внутрь.

Иногда я залезала на колокольню. Там наверху было темно и много летучих мышей. Они висели на крыше, на всех балках, как черно-серые овалы. Иногда какая-нибудь из них вздрагивала, и было видно трепещущее крыло. Это была похоже на компанию. Я ощущала себя ее частью, они были моими друзьями, и мне было что сказать им. Я говорила с ними, и вскоре они начинали летать вокруг меня. Они становились, как маленькие темные тучки, которые окружали меня. Иногда они образовывали узоры, которые были похожи на ковры, я «поднималась» высоко в небо. Я видела мир под собой, красивые маленькие точки и четырехугольники, которые стояли неподвижно, когда ковер двигался вперед. Часто Слире и Скюдде были со мной, и мы перебрасывались тем, что видели. Иногда я видела что-то удивительное и поражалась, иногда кто-то из них видел что-то, и мы смеялись. Это было так здорово, так светло и удивительно.

«Бам», — раздавался стук в дверь, я вздрагивала, машинально вставала и спускалась вниз.

Самой веселой игрой на колокольне было сидеть в бойнице и смотреть вниз. Было так высоко, что когда ты выглядывал из нее, кружилась голова. Это так притягивало, и я носилась взглядом вверх и вниз, пока не чувствовала, что я становлюсь невесомой, и «выскальзывала». Приходили Слире и Скюдде. Кто-то посылал мысль: «Играем в спуск по стене», это было самое удивительное. Мы «выпадали» из бойницы и «катились» по стене, стараясь выделять в воздухе самые замысловатые фигуры. Кто-то взлетал и показывал движение, а остальные делали так же. Слире и Скюдде по очереди показывали, а я «катилась» за ними, иногда так, как они показывали, иногда по-другому. Внизу мы собирались вместе и снова летели наверх. Мы поднимались на колокольню и скатывались вниз. Мы делали все больше оборотов. Мы смеялись и выли, атмосфера была пьянящей, было красиво и светло.

Послышался скрип ступеней, папа поднялся на колокольню: «Сиди тут, я буду звонить в колокол, ты поддержишь колодку». Эта колодка была деревяшкой, которая держала язык колокола, чтобы его бой не мешал бою часов.

По дороге домой я шла мимо качелей и на минутку садилась на них. Там я слышала все звуки природы, шелест ветра, собаку, которая лаяла где-то далеко, захлопнувшуюся дверь, хруст гравия под деревянными башмаками, все это становилось серенадой, которая вводила меня в мой мир, я была там как единственное сознание. Все вокруг обретало то содержание, которым я его наделяла, в том присутствии, которое влекло и завораживало мою душу.

Папа пришел, снял меня с качелей и понес домой. Пора было ужинать. Он говорил со мной, следил за тем, чтобы мне досталось все, что нужно. Мама сказала, что я должна вымыть руки. Я сидела и смотрела на свои руки, они играли в пятнашки, крутились и вертелись и выглядели так забавно. Она схватила меня и втокнула в умывальную комнату, у нее были

жесткие руки, и ее слова были словно гвозди, которые забивали в воздух. Папа подошел и взял меня, поднял меня, открыл кран и засунул мои руки под воду. Было такое приятное чувство, вода текла, образовывала маленькие белые ручейки и стекала в раковину. Мыло пенилось и получались красивые пузыри. Я хлопала по ним и пыталась затолкать их в воду, но у меня не получалось, они все время лопались. Большая теплая рука папы держала мои руки, делала на них пузыри, держала их под водой, а потом обернула в белое полотенце. Было весело и приятно.

После ужина папа брал меня с собой в постель, и я лежала рядом. Его глаза проникали в мою душу, и выводили меня куда-то, но не туда, где я обычно была. Это как будто была другая реальность. Как будто видишь, слышишь и чувствуешь вещи по-другому. Это было и приятно, и неприятно. Тело становилось осязаемым, можно было почувствовать, как папина рука, которая дотрагивалась до моей руки, превращалась в приятное вещество. Папины слова достигали меня и заставляли меня видеть вещи, очевидные истины, такие, как стул, стол, часы и т. п. В моем мире были только субстанции, которые плавали в нем без всякого смысла, но стоило мне мгновение побыть в глазах папы, все вещи приобретали значение. Папа называл это реальностью: «Ты должна понять реальность, иначе ты не справишься с жизнью».

Папа посвящал, по крайней мере, полчаса в день тому, чтобы держать меня в мире реальности и передавать мне знания. Он много смеялся над моим способом истолковывать мир и объяснять, что я вижу и понимаю. Часто это было ужасно глупо. Он делал из этого истории и рассказывал другим. Это вызывало интерес ко мне как к личности, что способствовало папиной цели — ввести меня в социальную жизнь.

Утром, когда было совсем тихо, было легко взлететь наверх, под крышу. Я кружилась и смотрела на все знакомые вещи. Я проносила вокруг каждой вещи и дотрагивалась до нее. Я не могла ничего сломать, и все можно было трогать. Только людей нельзя было трогать, потому что у них могли возникнуть неприятные ощущения, и они могли испугаться. У нас было много украшений, маленьких красивых фигурок, которые детям не разрешалось трогать. Я становилась маленькой и «карабкалась» на них, я «танцевала» с ними, «входила» в них и смотрела их глазами. Было так интересно попробовать.

Приходил Слире и начинал погоню. Он шумел, исчезал и появлялся снова. Приходил Скюдде и застывал рядом со мной. Слова играли в атмосфере. Слова, которые я слышала от взрослых: «мертвый», «больной», «брошенный», «арестованный», «убитый». Это были опасные слова. Когда кто-то произносил их, из человека как бы выходило ядовитое вещество. Цвет вокруг человека становился грязным, как будто он покрывался слоем сажи. Скюдде «делал формы» из слов и «вставлял» их в картины. Это могло быть поле, на котором неподвижно лежал человек, это могло быть кладбище или гроб, большая больница и дяди в темных костюмах с белыми халатами поверх них. Тети в странных белых шапках. Дом с зарешеченными окнами и т. д. Я рывком возвращалась в кровать. Я слышала свой голос. Кто-то подходил и поднимал меня, шептал мне на ухо: «Ну, ну, полно, тебе приснилось что-то неприятное, ты вся мокрая от пота». Мой мир снова становился обычным, и я могла опять «летать вокруг».

Ночи были особенными. Я редко спала, и рядом с моей кроватью стоял маленький зеленый ночник. Я обращала на него взгляд и погружалась в этот зеленый свет и оказывалась в другом измерении. Там было все: вода и воздух, ветер и движение. Я просто «парила» в нем и «плыла», как на ковре. Это зеленое пространство было наполнено, и все же там ничего не было, оно не был пустым, но там не было ничего постоянного, оно все время меняло форму, и я была в этой форме. В окне брезжил свет. Папа начинал ворочаться, потом вставал и шел на кухню, я кралась за ним.

В крайней комнате жил пастор. Он приезжал через каждые две недели и оставался на целый день, он сидел и записывал проповеди. Никому не разрешалось входить в эту комнату. Я тайком проникала туда, там было душно и сумрачно, стояла тяжелая дубовая мебель, висели бархатные портьеры, я говорила «совестливые портьеры», и все смеялись (в шведском языке слова «совесть» и «бархат» созвучны), темно-бежевые обои и огромные картины. Там был

небольшой алтарь, со скамеечкой впереди. На нее была постелена черная ткань, которая свисала с нее, с красивым серебряным крестом, поверх нее лежала тяжелая белая ткань и на ней стояли две свечи, графин с водой и стакан, а также раскрытая Библия. На стене висел телефон. Он иногда звонил, и воздух прорезал такой пронзительный звук, что, когда он раздавался, я всегда «выскакивала» из тела.

Мое место было под письменным столом. Я залезла под него и сидела совсем тихо. Я молча раскачивалась всем телом, и все остальное исчезало. Иногда пастор сидел тихо и вдруг раздражался каскадом слов. Он читал отрывки из Библии, а потом разыгрывал елейную сцену со множеством слов, которые образовывали в воздухе самые фантастические разноцветные картины. После этого он часто обращался ко мне и спрашивал, как я думаю, годится ли это, но он никогда не ждал ответа, а отвечал сам, я была чем-то вроде компании в его собственной атмосфере, и ему нравилось, когда я сидела там.

Я «двигалась» среди его слов. Они «плавали» в воздухе, и я следовала за ними. Иногда они приобретали смысл, иногда они были просто забавными завитушками, которые звучали красиво. Приходили Слире и Скюде, мы играли в «пятнашки» среди этих слов, «ловили» их, держали, но они все время «ускользали». Появлялись новые, и старые исчезали. Я старалась, но не могла схватить их. Опять возникали старые, они с новым грохотом появлялись изо рта священника, и я опять могла приниматься за охоту. Было ужасно весело «танцевать» среди слов, которые исчезали и появлялись. Разыгрывалось множество историй. В них рассказывалось о внезапной смерти, о рождении ребенка в вертепе, о добрых и злых, об умных и глупых, о множестве людей, которые были мужественными и честными, и совершали множество вещей, которые были созвучны моему миру. Я видела множество людей, которые брели в песке среди домов, которые были словно белые четырехугольники без крыши. У них была красивая развевающаяся одежда, они несли большие глиняные горшки с водой. Иногда их преследовали, иногда они шли вместе, иногда друг за другом, иногда их убивали. Картины и происшествия сменяли друг друга, а я была зрителем. Иногда я тоже была с ними, но они не видели меня, только я видела все.

«Ирис, тебе пора идти, чтобы не испачкать пол», — пастор вытаскивал меня из-под стола, ставил меня на ноги, поворачивал меня лицом к двери и отправлял меня из комнаты. Я механически шла в кухню, и меня отправляли в туалет. Мама обычно говорила довольно строгим голосом: «Так, значит, ты была у пастора. Надеюсь, ты не сказала какой-нибудь глупости, чтобы мне не пришлось краснеть за тебя?»

Когда пастора не было в комнате и мама входила, чтобы полить цветы, я могла пробраться внутрь, залезть под стол и сидеть тихо, пока она не уходила. Тогда я садилась на маленькую скамеечку у алтаря, открывала какую-нибудь страницу Библии и погружалась в нее. Это так увлекало меня, что я переставала дышать. Передо мной как бы разворачивался фильм, появлялось множество людей, животных, воды и пески, дома и церкви, стоял невероятный шум. Мне нужно было только «включить» звук голоса пастора в моей голове, и тогда происходило множество фантастических вещей.

Спустя много лет, когда я изучала историю религии, эти рассказы снова всплыли в моей памяти. Наш преподаватель говорил о том, что всем нужно ознакомиться с Библией, чтобы легче было изучать его предмет. Я думала, что ничего не знаю о Библии, и приготовилась корпеть над ней, но это оказалось ненужным, постепенно библейские истории «ожили» во мне, и я могла извлечь из них главное. Я понимала, что они не таковы, какими представлялись мне в моем мире, когда я была ребенком, но суть была той же, и нужно было только «поймать» ее и преобразить. Это была странная ситуация: знать множество вещей, иметь источник, из которого можно черпать, источник, о существовании которого я за секунду до того не подозревала.

Постепенно я поняла, что все это длилось около четырех лет, от трех до семи лет, с того момента, когда я начала кричать, до тех пор, пока я не пошла в школу. Все закончилось, когда пастор умер, а новый пастор никогда не пользовался крайней комнатой. Я продолжала тайком пробираться туда, но там уже не было той атмосферы, словно какой-то важный ее компонент

исчез.

Однажды, когда я стояла там, в моем мире, зазвонил телефон. Он зазвонил так резко и неожиданно, что я рухнула на пол и у меня началась «вспышка», я кричала и кричала и вздрагивала. Кто-то ворвался в комнату, поднял меня и держал, пока я не успокоилась.

Иногда меня отправляли в комнату, чтобы я подошла к телефону, и это было так страшно. Я брала трубку, и как будто пастор подходил ко мне сзади в своей большой развевающейся черной рясе. Лицом он был похож на орла, и у него была только одна рука. Другую ему ампутировали, потому что у него был рак. Когда он подходил достаточно близко, я «выскакивала» из тела и роняла телефонную трубку. Спустя некоторое время я видела себя лежащей на полу перед телефоном, трубка висела на проводе, и я слышала, как кто-то в трубке кричал: «Алё!! Алё, кто там? Вы можете ответить или повесить трубку, связь нарушена, нельзя же так, алё!?!» Я бросалась прочь, иногда просто выбегала и пряталась, иногда бежала в кухню, хваталась за чью-нибудь одежду и тащила кого-нибудь к телефону.

Много позднее я поняла, что мама панически боялась телефона и, если поблизости, кроме меня, никого не было, она посылала меня, хотя знала, что я не справляюсь с ситуацией.

Еще хуже было, когда я должна была звонить. Стоять там, крутить ручку и ждать, пока телефонист ответит, потом сказать, с кем я буду говорить, — это у меня никогда не получалось. Я могла удерживать в голове только одну инструкцию, и когда телефонист раздраженно добивался ответа, я опять чувствовала, как сзади ко мне подходит пастор, окутывает меня своей черной рясой и поглощает меня, и я исчезаю. Я видела комнату сверху. Я видела маленького ребенка, лежащего на полу. Я видела телефонную трубку, висевшую на проводе, спустя мгновение я слышала в голове чей-то голос, который кричал «Алё, эй-эй, алё, повесьте трубку...», я вздрагивала, поднималась и вешала трубку. Такая ситуация повторялась много раз, мне давали поручение, я начинала выполнять его, но тут кто-то входил в мою атмосферу, и все менялось. Я не могла ничего исправить, ни рассказать о том, что произошло, ни понять, что я должна была сделать или вспомнить, что я делаю не так. Я сижу на качелях. На дворе лето, тепло. Светит солнце. Лучи проникают сквозь листву, и я вижу капли на траве. Раннее утро, выпала роса, и внутри меня просыпается радость. Никто из окрестных детей не проснется так рано и не помешает мне.

Я раскачиваюсь и взлетаю высоко. Я словно лечу по воздуху. Ветер обвевает меня, и в животе становится щекотно. Я слышу легкое поскрипывание дерева и шелест листьев. Тепло разливается по всему телу, и я даю качелям остановиться.

Тихо, совсем тихо. Я чувствую свое тело. Начинает покалывать пальцы на ногах и на руках. Удовольствие разливается по всему телу. Скоро меня охватывает какой-то восторг, и тогда я «выхожу» из тела. Я «выхожу» из него и, немного отойдя от него, оборачиваюсь. Я вижу, как я сижу на качелях совсем тихо и блаженно улыбаюсь. Та, которая сидит там, выглядит приятно расслабленной, как будто она погрузилась в глубокое раздумье.

Появляются две знакомые фигуры. Они подходят ближе. Это Слире и Скюдде. Мы смотрим друг на друга. Мы не говорим слов, как обычные люди, потому что мы «видим» мысли друг друга. Мы можем «жонглировать» мыслями, «прятать» и «переворачивать» их, чтобы другие отгадывали их, как загадки. Мы можем «выворачивать их наизнанку» и придавать им совершенно иное значение, это интересно, как будто ум оживает и меняется все больше и больше. Двое ждут, пока третий думает. Разговор идет о жителях Земли и о том, что они будут делать. Слире, светловолосый, с живыми голубыми глазами, тот, у которого всегда полно идей, и который хочет делать все сразу, выбрасывает из себя каскад мыслей, которые становятся картинками в воздухе, становятся движущимися событиями и будят новые мысли. Он горячий и немного беспокойный. В глазах Скюдде грусть и мудрость, как будто он знает все о зле мира, но все равно может участвовать в нашем сумасбродстве. Он такой теплый, такой надежный и заботливый, я люблю его, потому что он помогает мне собраться с мыслями. Часто множество побуждений бросает меня куда попало, но с помощью Скюдде все останавливается, и возникают картины. Я знаю, что когда я с ними, жизнь наполнена и истинна. Нет ничего несовершенного и бессмысленного, как будто всякая тоска и огорчения

исчезают, подобные чувства существуют только в теле и только там они могут причинять боль.

Другие люди, особенно те, которые боятся, могут сказать и сделать вещи, которые отзываются такой болью в теле! Как будто меня охватывает невыносимый жар, как будто я взрываюсь, все тело разрывается на куски. Приходит истерика, я кричу, лягаюсь, кусаюсь, бросаюсь на землю, бьюсь об нее головой и пытаюсь унять тело. Чаще всего достаточно немного покачаться, тогда появляется влага, и мир опять становится хорошим.

Все параллельные реальности, которые я переживаю, сменяют друг друга, и иногда я не могу ничего с этим поделать, но иногда у меня получается мысленно призвать мир знаний, мир цветов, мир звуков и мир боли.

Когда я с людьми, я должна или не должна делать множество вещей. Я не должна говорить, чего я хочу, потому что тогда я буду невежливой. Я должна здороваться определенным образом, иначе большие рассердятся и назовут меня невоспитанной. Иногда, когда я что-то говорю, бабушка говорит, что я грешная, иногда она заставляет меня говорить «Извините», хотя я не знаю, что значит «Извините» и почему человек так говорит. Я вижу, что люди успокаиваются и теряют интерес ко мне, тогда я опять «учиняю» что-нибудь, и возникает та же самая картина. Некоторые смеются, но большинство считают, что меня нужно поместить в соответствующее учреждение. Жизнь иногда бывает такой странной. Как будто с другими людьми человек абсолютно не может быть таким, какой он есть, как будто это помещает другим, а человек не должен нарушать душевный покой других.

К сожалению, я любила нарушать душевный покой других и не могла перестать то и дело расшатывать его. Душевный покой матери было так легко нарушить: мне достаточно было войти в комнату. Она начинала сердиться, когда видела мой взгляд, или, как она говорила, «язвительную ухмылку на моем лице». Она считала, что это может «довести до бешенства дохлую лошадь», так же как и ее саму. Она думала, что иметь такого ребенка утомительно, но она была рада, что за меня отвечает папа, и она часто «сдавала» меня ему, чтобы побыть немного в состоянии душевного покоя. Она часто говорила, что она смогла бы иметь еще десять таких детей, как мой брат, но больше ни одного такого, как я, и что я досталась ей за ее грехи. Я часто ждала, чтобы узнать, как выглядят эти грехи. Это было такое странное слово, у него была особая форма, мне она нравилась, но она никогда не объясняла, откуда взялись ее грехи и как они выглядели.

Единственным человеком, который не говорил мне, что я должна вести себя хорошо, был мой отец. Правда, Эмма тоже не делала этого, но ее как телесного существа больше не было. Эмма поехала в Гётеборг и умерла, она больше не вернулась в обычный мир. Зато папа говорил мне, какой, по его мнению, люди хотели бы меня видеть, и спрашивал меня, не могла бы я делать так, потому что так было бы лучше. Я делала, как он говорил, пока я могла, это зависело от того, чего не хватало у меня в голове в данный момент, что я могла держать в памяти, потому что я каким-то образом понимала, что лучше всего делать так, как он говорил.

Он пытался научить меня, что не нужно реагировать, когда думаешь, что другие глупы, нужно просто думать, что они странные, и не обращать внимания. Это у меня не получалось, вместо этого получалась «вспышка», но время от времени я могла уставиться на человека и «не вмешиваться», тогда было странно, потому что «вспышка» начиналась у него. Наверное, когда он говорил, что я «реагирую», он подразумевал что-то другое, скорее он имел в виду, что когда человек был раздражен, я цеплялась за это и не могла перестать, так что человек каким-то образом взрывался, приходил в ярость или у него начинала болеть голова. Такие люди часто начинали ругать папу или маму, что я избалована и что мне нужно «здать встрёпку», что это мне совсем не повредит.

Папа отвечал, что встрёпка как раз повредит мне, он знает, что это не помогает, что это негативно влияет на мою способность быть вежливой или воспитанной, и что, на его взгляд, взрослые люди должны быть достаточно зрелыми, чтобы невинный ребенок не мог вывести их из себя.

Из-за этого слова «невинный» обычно возникала новая перебранка между взрослыми, и

воздух наполнялся удивительными цветами и формами, и я сидела под каким-нибудь стулом или под столом и следила за всеми перипетиями этого представления.

Иногда дело кончалось тем, что человек спешно уходил и больше не приходил к нам. Он думал, что папа совершенно рехнулся и его нужно засадить под замок, что он еще хуже, чем я. Папа дружелюбно улыбался, говорил: «До свидания» и просил человека подумать еще раз и прийти снова, потому что он не злопамятный и надеется, что это относится и к его собеседнику.

Мама выслушивала это все и каялась. Просила и умоляла, извинялась и унижалась, иногда взывала о снисхождении, иногда они все равно уходили, и тогда мама писала извинительное письмо и каялась еще пуще. Большинство возвращались, и эти происшествия постепенно превращались в забавные истории.

Этот мир, эта реальность, в которой я находилась, часто помногу раз за сутки, была сначала очень светлой и приятной и совершенно не страшной. Только обычная реальность была незнакомой, сложной и пугающей, была неприятной и не по-хорошему болезненной, была непонятной и приносила столько беспокойства. Но когда мне было одиннадцать-двенадцать лет, все изменилось. Появились черные, демонические картины и пугающие звуки и свет. Еще я начала понимать, что другие заняты иными вещами и понимают реальность иначе. Я стала интересоваться окружающими людьми и окружающим миром по-другому, стала видеть другими глазами, было очень трудно и сложно, но и приятно.

Папа стал время от времени, по воскресеньям, брать меня, старшего брата и еще одного ребенка на утренний сеанс в кино. Я по большей части находилась на полу, ползала или сидела под стулом, но однажды какой-то фильм захватил меня. Папе удалось заставить меня смотреть и видеть то, что двигалось на экране, и я прилипла к нему, я была зачарована.

Потом в течение нескольких лет я смотрела все фильмы, которые мне попадались. Я сидела в зале и погружалась в изображение, «кружилась» в действии фильма и по-новому понимала обычный мир и что происходит между людьми.

Сегодня

Настоящее — это как проходит моя жизнь сейчас, чем я занимаюсь как консультант, как я живу и выстраиваю свою деятельность вокруг того, что я знаю, как я веду людей к автономности (индивидуально и в группах).

Полноценная жизнь, несмотря на все неудачи.

Однажды, в 1982 году, я стояла и смотрела на свои часы. Для меня не было никакой связи между тем, что показывали стрелки на циферблате, и реальностью. У меня не было никакого ощущения времени, зато я примерно определяла время суток: утро, полдень, послеобеденное время и вечер. Вообще говоря, я неплохо справлялась с этим, но когда нужно было успеть вовремя, подруга детства всегда звонила и предупреждала меня, что мне нужно собираться, чтобы не опоздать.

Часы на стене тикали, я должна была идти на встречу, я смотрела, было восемь часов. «Восемь, точно, я должна выйти сейчас же, чтобы приехать вовремя». Необычное чувство. Я вышла и добралась вовремя, и все мое нутро поняло, что я соединила что-то, что было непонятно мне раньше. Было такое чувство, что мир открылся для меня.

Вечерами я училась в институте, там я встретила подругу и рассказала ей о своем фантастическом открытии. Она в отчаянии покачала головой и сказала: «О, нет, я думала на этой земле есть хоть один человек, на которого не влияет время и который может жить, как дитя природы, в нашей цивилизации». Я смутилась на какое-то мгновение, но потом она поделила мою радость.

С календарем дело обстояло хуже. Я не понимала, что число, которое стоит на бумаге, имеет отношение к конкретному дню. Я не могла подготовиться, если никто не говорил мне, что именно сегодня произойдет что-то особенное. Жизнь для меня — поток, жидкая субстанция, у нее нет границ.

Я стала тренироваться, каждый день смотрела на календарь, говорила вслух, какое сегодня число, какой день недели, какая неделя, месяц и год. Я связывала это с погодой, восходом солнца, тем, что росло на земле, или тем, каких птиц можно услышать. Постепенно у меня образовалась некая структура, так что я могла заглянуть в календарь и связать календарный день с реальностью, но у меня нет никакого ощущения этого, только формальное знание. Этого вполне достаточно, но трудность заключается в том, что я должна записывать все — я могу жить без календаря и функционировать своим обычным способом, — и тогда у меня нет никакого понятия, в какой день что происходит, или же я могу строго следовать расписанию по пунктам, и время не растекается.

Проблема заключается в том, что обычно у людей есть доступ к обеим возможностям. Рабочее время у них привязано к календарю, а в свободное время они делают то, что запланировали в голове, без всяких записей, это вызывается самопроизвольно. Когда я использую ежедневник, я записываю туда каждую встречу, каждое свидание и каждое сообщение, которое я должна сделать тому или иному человеку. Это означает, что мой ежедневник то и дело выныривает из сумки, и что я закрепляю все очень тщательно. Это вовсе не обременительно, потому что я люблю смотреть в ежедневник и узнавать, что произойдет дальше. Я с радостью ожидаю этого момента: «Интересно посмотреть, что там за встреча». К сожалению, кого-то из моих друзей это оскорбляет. Они не хотят быть временем в ежедневнике, они считают, что так исчезает спонтанность, потому что я никогда не звоню или не прихожу просто так, и что со мной нельзя пообщаться, предварительно не назначив время. Многим не по душе это холодное структурирование, но для меня это фантастика: я могу следовать структуре, и это нисколько не мешает мне быть здесь-и-теперь, быть включенной в происходящее. Я никогда не нахожусь в прошедшем времени или в том, которое наступит, я постоянно присутствую. Только на мгновение, когда я смотрю в ежедневник, я оказываюсь на некой дистанции от настоящего.

Мое представление о мире иное, и я вижу, что другие страдают от этого: они чаще всего находятся на дистанции: в «потом», или застревают в какой-нибудь истории, и им трудно быть здесь и теперь, участвовать во встрече и близости, получать удовольствие и иметь доступ ко всем своим чувствам именно сейчас.

Вообще говоря, теперь я владею информацией о времени и пространстве, хотя иногда я сильно опаздываю. Бывает так, что я приезжаю на час или на день раньше или позже, или прихожу в нужный день, но в другом месяце или году. Сейчас это стало забавной чертой жизни, и люди часто снисходительно смеются вместе со мной. Мой коллега по работе, Леннарт, постоянно просматривает мой ежедневник и проверяет, все ли у меня согласовано, так что получается очень мало промахов, и я этому очень рада.

Иметь партнерские отношения у меня не получается, поскольку я не могу постоянно держать в поле зрения потребности моего партнера и удовлетворять их. Мой бывший муж целиком предоставлял себя в мое распоряжение и давал мне все пространство в мире, чтобы я получила возможность научиться всему тому, что было так трудно и невозможно для меня, но спустя двадцать пять лет, он стал тосковать по чему-то иному. В глубине души он надеялся, что моя способность к гармонии когда-нибудь пробудится во мне, но этого не происходило, и он чувствовал, что продолжает страдать. Я не хотела этого, потому что он замечательный человек, и я больше всего на свете желала, чтобы у него было все хорошо, чтобы он был счастлив, и я надеюсь, что он нашел свое счастье.

Я живу одна в том смысле, что у меня нет партнерских отношений, но в остальном я не одна. Я живу с двумя семьями, в которых в общей сложности трое детей, а это значит, что я все время включена в контакт, и это очень хорошо. Я люблю людей и, прежде всего, детей, так что мне как раз впору такая жизнь. Иметь возможность наблюдать за развитием детей, помогать своими знаниями и интуицией родителям и детям — это большая привилегия.

Нормально развитого человека с коммуникативными нарушениями от человека без коммуникативных нарушений отличает то, что человек с нарушениями должен настроиться на активный прием чувств и импульсов других людей. Я так много тренировалась, что мне

больше не нужно активно думать, что я должна дотянуться до других и принять их в себя, это скорее похоже на вождение машины: когда человек тренировался достаточно много и водил машину достаточно долго, это знание как будто застревает у него в спинном мозгу. Человек просто делает то, что должен, когда сидит за рулем. Часто это работает само по себе, но иногда я забываюсь, и тогда возникают проблемы. Иногда люди чувствуют себя отвергнутыми и обижаются, иногда я не слышу, что они говорят, и это их оскорбляет, иногда я не понимаю, что мне нужно быть вежливой, и тогда получается неправильно.

Никакой контакт не происходит автоматически, и многое проходит мимо меня, но я так натренировала свою способность к наблюдению и способность размышлять обо всех и вся, что иногда я функционирую лучше других.

С другой стороны, я достаточно необузданна. У меня не много представлений и ценностей, которые сдерживают и ограничивают меня, когда речь идет о близком знакомстве. Я научилась тем вещам, которые значимы в обычной реальности, но я соблюдаю их только пока мне это удобно, и я в одно мгновение могу перекроить нормы, если это нужно. Можно сказать, что это своего рода аморальность. Но я не живу незаконно и не подавляю себя, просто я разумным образом приспосабливаюсь к наиболее гибкому способу функционирования. Я часто замечаю, что если другие нарушают какие-то моральные принципы или нормы, они страдают, испытывают угрызения совести, их мучает чувство невыполненного долга или им кажется, что они не имеют права — не могут жить дальше, короче говоря, они чувствуют себя злодеями. Со мной ничего подобного не происходит, я не чувствую ничего особенного, когда я нарушаю что-то священное.

Моя мама всегда считала, что я самый невоспитанный человек на свете, и, я думаю, это правда. Я не воспринимала никакую информацию насчет правил поведения, пока я не стала достаточно большой, и это не осело в моем сознании, и тогда я могла подумать и решить, что я буду помнить, а что выкину из головы. Однако я очень легко подчинялась чужой воле. Я редко контактирую с волей другого внутри себя, но думаю, что это правильно с практической точки зрения — хотеть того, чего хотят другие. Я должна придавать первостепенное значение тому, чего хотят другие, чтобы, если они спросят меня, я могла сформулировать их желания, как свои собственные, иначе они начинают беспокоиться, что они всегда должны все решать. Они начинают думать, что это несправедливо и что я отказываюсь от ответственности.

Я много боролась с такими представлениями. Мне трудно понять их и еще труднее найти смысл в их толковании. Справедливость относится к таким понятиям. Я обычно спрашивала у людей, что они имеют в виду, когда говорят, что что-то справедливо или несправедливо. «Здравый смысл подсказывает, что это несправедливо». У меня нет такого здравого смысла, который мне подсказывает, и я не знаю, где его взять. Для меня все, что происходит, таково, каково оно есть. Если человек потом придумывает систему классификации, событие, исходя из этой классификации, может оцениваться как справедливое или несправедливое, но это имеет значение только, когда существует классификация.

В моей жизни был период, когда я работала представителем профсоюза, и я должна была вести переговоры о заработной плате. Я внимательно изучила, как выстроена эта система, и узнала, что существует четкая иерархия, и важно, чтобы каждая группа отстояла на определенное расстояние от следующей группы, иначе понижается статус, какой-то группы, а этого быть не должно. В общем, должна была существовать разница между группами, чтобы это было справедливо. Потом, существовали «столбики», какие-то разряды заработной платы, и они должны были распределяться справедливо, каждому по заслугам. Это означает, что мы должны были разговаривать с теми, кто заслужил их, и они должны были находиться в таком соотношении, чтобы все думали, что это справедливо. Если единодушия не получалось, принималось и бралось за основу решение большинства. Я предполагала, что в Стокгольме есть, какой-то стандарт, что-то вроде бруса длиной в метр, который хранится во Франции и служит эталоном для всех метров в мире. На основе этого, стандарта строится система, и тогда она становится понятной, и если все согласны насчет этого главного метра, тогда люди могут увидеть справедливость. В какой-то момент к нам поступила новая группа сотрудников,

зарплата которых не была оговорена в центре, их нужно было «определить» на подходящий уровень. Я звонила в Стокгольм и узнала, что это мы должны решить на месте. Тогда я позвонила в разные коммуны и спросила, какой у них «подходящий уровень» для такой работы. Никто не знал. Я опять позвонила в Стокгольм и поинтересовалась, как выглядит шаблон, чтобы знать, из чего исходить при расчете заработной платы. Я думала, что если я буду знать критерии, я наверняка смогу рассчитать, где место такой работе на шкале зарплат.

Сначала мне пришлось ждать, потому что они не поняли, о чем я говорю, и мне пришлось говорить немного громче, потом еще громче и еще громче. Оказалось, что не существует никаких подобных критериев, а следует исходить из «ответственности». Тот, у кого больше ответственности, должен иметь самую высокую зарплату. Тогда я спросила о критериях ответственности. Их тоже не было, а «каждый человек хорошо понимает, что это значит, и кто несет больше ответственности».

Я так и не поняла, как же все-таки люди узнают, что справедливо, а что несправедливо, когда не из чего исходить, но люди часто злились, когда видели несправедливость, чувствовали себя оскорбленными и хотели восстановить справедливость. То же самое с ответственностью: в моем мире, где все брали на себя всю ответственность, какую только могли, ни к кому не относились хуже оттого, что он или она не понимает сложных вещей, а здесь была определенная последовательность: человек должен делить ответственность и следить за тем, чтобы тот, у кого больше ответственности, получал большую зарплату.

Я опять стала звонить в другие коммуны и спрашивать, разобрались ли они с этими зарплатами, и один человек сказал мне: «Смотрите, мы берем приблизительно ХХ, это середина между специалистом по проведению досуга и социальным работником, этого, надо полагать, хватит». Многие потом звонили друг другу, и все помещали эти зарплаты на один уровень, кивая друг на друга: «Так получают эти работники в каждой коммуне, и будет справедливо, если у тебя будет то же самое».

Ловушка-22. Кто-то высказал предложение, совершенно произвольно, с тех пор его используют как справедливую модель, и основанием служит то, что так должно быть во всех местах, тогда будет справедливо, а если кто-то уклоняется от этого, тогда получается несправедливо и человек проявляет несолидарность.

Кто-то объяснил мне, что если все не могут получить что-то, то никто не должен получить это, если только не существует особых причин, которые узаконивают эту несправедливость. Я тогда подумала, что поскольку не все люди на свете могут купить мороженое, тогда всех надо лишить мороженого, если это справедливо. Я отстаивала этот тезис, и люди считали меня смешной. Ведь так рассуждать нельзя, нужно говорить о Швеции. Тогда я заявила, что в Норланде не растут сливы, значит, никто не должен есть сливы или, по крайней мере, те, у кого растут сливы, должны делиться с норландцами. Так рассуждать, оказалось, тоже нельзя. Что же такое справедливость?

Я говорила об этом с отцом, и он сказал, что справедливость для него понятие относительное. Что это зависит от того, как человек смотрит на разные вещи, и поэтому чувство несправедливости у всех разное. Он сказал, что невозможно быть справедливым, нужно попробовать выяснить, что другие считают важным, и удовлетворять их потребности, насколько возможно, тогда несправедливость в каждом случае будет не слишком большой. Потом он сказал, что справедливость элементарна, т. е. она существует на вторичном уровне и не имеет совершенно никакого значения для нашего выживания на первичном уровне, этим он хотел сказать, что я не должна принимать это слишком близко к сердцу, слишком серьезно относиться к тому, что люди шумят о справедливости.

У меня до сих пор большие проблемы со справедливостью. Я почти никогда не чувствую несправедливости, только разве когда кто-то что-то пообещал мне, а потом забирает обещанное прямо из-под носа, без всякой разумной причины. Я обычно довожу дискуссию до абсурда, когда кто-то встает на защиту справедливости, и если после этого предмет спора не исчерпывается, я могу обсуждать соотношение между справедливостью и несправедливостью, в противном случае я помогаю людям сочувствием, потому что они чувствуют себя

оскорбленными и несправедливо обиженными, пока они не перестанут огорчаться по этому поводу и не успокоятся.

Для меня не существует и такой странности — изолировать ответственность от жизни, а потом устанавливать ей цену. Для меня это заблуждение. Для меня ответственность — это привилегия. Если я способна взять на себя ответственность и другие доверяют мне, и я оправдываю это доверие, это приносит мне пользу, и я расту как человек. Мне дают привилегию.

Дети получают награду, когда они берут на себя ответственность и присматривают за младшими братьями и сестрами, потом к ним применяют финансовые санкции, и они получают меньше денег на карманные расходы, когда они не берут на себя ответственности и не стелят свою постель. Каждый раз, когда они показывают, что умеют что-то, устанавливается определенный стандарт, и если человек потом не берет на себя ответственности, к нему применяют санкции. Таким образом, дети чувствуют, что их обманули и украли у них время. Время, когда они могли бы играть. Многим детям не нравится учиться будничным вещам, потому что у них, как правило, крадут время, а выгода слишком мала. Мы вводим ценности в области, в которой их не должно быть, и это приводит к проблемам во взрослой жизни.

Много лет я размышляла над тем, как разграничить то и другое и объяснить разницу. У меня не было никакого инструмента, никого, кто мог бы показать, как нужно думать. Проучившись много лет в институте и пообщавшись с умными людьми, я выяснила, что существуют две сферы жизни, первичная и вторичная, и что они не противостоят друг Другу, следуют друг за другом. Разница между первичной и вторичной весьма существенна, но каждая, сама по себе, чрезвычайно важна. Это означает, например, что ответственность относится к первичной и не должна оцениваться, наоборот, должна всегда нести с собой какую-то форму свободы и привилегий. Во вторичной можно измерять и оценивать, взвешивать разные вещи, исходя из шкалы ценностей, с которой человек в лучшем случае согласен, но это не имеет никакого отношения к удовлетворению наших первичных потребностей.

Защищенность, что это? В нашей стране человек так боится, что человек должен иметь гарантию, что он будет защищен. Это означает, что человек не хочет предоставлять себя на милость жизни, такой, какая она есть, он всегда хочет ее упорядочить. Мне кажется, нужно дать людям возможность быть защищенными в незащищенности, а не создавать такой защищенный мир, в котором человек не способен прожить в естественном состоянии. Я заметила, что для получения этой защищенности внутри людям необходимо научиться «ремеслу». Каждый из нас знает столько о природе, что человек может выжить, если его оставят на необитаемом острове, люди знают столько о коммуникации, что они могут найти общность, которая необходима, чтобы стать группой и выжить даже в трудные времена.

Коммуникация, как она происходит и на чем она строится? Когда я впервые увидела, что другие люди делают что-то, в чем я не могу участвовать, я поняла, что я другая, что у меня нет какого-то умения, которое как будто присуще всем остальным. Вокруг нас есть атмосфера какой-то духовной общности, и это гарантирует определенную защищенность, доверие, где можно брать и отдавать, получать и отдавать и в то же время обмениваться с другими, и с обществом, близостью, удовлетворять нашу фундаментальную потребность в общении и внимании.

Когда человек потом хочет коммуницировать с отдельной личностью, он аккумулирует это поле и направляет его на того, с кем он хочет вступить в контакт, тот делает то же самое, и люди встречаются в общей атмосфере. В это мгновение меняется суммарная атмосфера, и нужно пересмотреть и переоценить ситуацию.

В моем мире в детстве я была хорошо знакома с общей атмосферой. Она была наполнена разнообразным содержанием, и я проводила в ней столько времени, сколько могла. В одиннадцать лет я обнаружила, что атмосфера с другими подростками менялась. Их атмосфера была целиком направлена друг на друга, а вокруг меня словно образовывался

бесцветный вакуум. Я пугалась и пыталась понять, что это. Я шла к папе и спрашивала, что они делают.

Поскольку я не умела этого, я стала тренироваться, наблюдая за девочками и пробуя перед зеркалом делать так же, пока я не научилась. В конце концов, у меня получилось, но за это время я сделала много ошибок, и я стала все время думать о своем поведении: как я двигаю руками, как я стою, как я смотрю, как я слушаю других, как я отвечаю и какие выражения появляются на моем лице.

Я стала работать ученицей в дамской парикмахерской, и это была идеальная школа для меня. Я стояла и накручивала волосы на бигуди, слушала и смотрела пару лет, прежде чем я попробовала сама делать прически, и тогда я составила подробную программу, чтобы вести себя правильно.

Я училась коммуникации, как она происходит и действует. Сначала нужно установить коммуникацию, лучше всего создать для этого хорошую атмосферу. В парикмахерской все начиналось с того, что даму приветствовали и приглашали ее в отдельную маленькую кабинку. Там ее просто спрашивали о ее настроении, говорили, например, о погоде, о времени года, о работе или каком-нибудь другом насущном предмете.

Мое преимущество заключалось в том, что я стояла за спиной клиентки, и мы бросали друг на друга только мимолетные взгляды в зеркале, и я могла целиком сосредоточиться на волосах, и таким образом, была вне прямого контакта. Этот прямой контакт легко вызывал мои стереотипные движения и блокировал мышление, так что исчезал контроль над импульсами.

Я тренировалась и тренировалась, чтобы научиться быть в прямом контакте, но это вызывало сильную боль внутри. Потом боль утихала, и оставалось только слабое неприятное чувство, но я продолжала тренироваться, и мне удалось думать все время и не «сбиваться».

В детстве я научилась видеть особого рода излучение, исходящее от животных, особенно от телят. Я знала, когда у теленка была жизненная энергия, и когда ее не было. Я не могла сказать, в чем разница, но разница была большая. Когда я работала в парикмахерской, я научилась видеть ее и у людей, и я поняла, что можно восстанавливать жизненную энергию, когда она была истощенной. Я делала это, женщинам это нравилось, и они вызывали меня, не потому что я была лучшим парикмахером, но потому что им было приятно, и у них появлялись жизненные силы, когда я занималась их волосами.

Много лет спустя я осмыслила весь тот опыт, который я приобрела за те десять лет, что я работала в парикмахерской, но прошло еще больше времени, прежде чем я поняла, что все связанное с атмосферой коммуникации и коммуникативным полем, неведомо другим. Другие внушили себе, что «это все лишь фантазии», что фантазии нереальны, и что нехорошо предаваться фантазиям, лучше научиться чему-нибудь стоящему, реальному и нужному.

Когда я открыла, что люди отличаются от всего остального в мире, что у нас есть особая способность использовать атмосферу, меня полностью захватило это знание. Я начала интересоваться детьми. С детьми было легко, потому что они были такими гибкими и безгранично любознательными, что можно было на нематериальном уровне играть с ними.

Когда у меня родился младший брат, папа положил его мне на колени. Сначала мне было неприятно, но в следующее мгновение он обхватил меня, и у нас возник нематериальный игровой контакт. Это предшествовало моему открытию того, что подростки делают в обществе друг друга. Вокруг моего младшего брата была тонкая жизненная энергия, и я то и дело восстанавливала ее. Он много болел в первый год жизни, и каждый раз поле вокруг него истончалось, но когда он возвращался из больницы, мы начинали снова. Эта неравная борьба продолжалась до тех пор, пока он не пошел в школу.

После дамской парикмахерской я стала работать в детском отделении больницы. Там я обнаружила, что тяжело больные дети часто были совершенно спокойны, и у них не было никакого страха смерти, они жили своей жизнью. Они довольствовались отведенным им временем и не думали, что у них отнимают что-то, даже если они умирали детьми. Но их близкие были в отчаянии и считали, что дети лишаются чего-то. Родители и другие взрослые

вели себя так, словно жизнь для них самих закончилась, потому что дети болеют. Я посвящала много времени тому, чтобы превратить минусовую атмосферу взрослых в плюсовую для того, чтобы им стало немного легче и веселее, а также, чтобы они были более открытыми и доступными для контакта со своими детьми.

В детском отделении я познакомилась с девочкой, у которой была анорексия. Она была такая тонкая, что казалась прозрачной, но она была веселой и умной. Одно время ей делали капельное внутривенное вливание, и потом она должна была пить питательный напиток и есть обогащенное протеинами мороженое. Каждые два часа нам было предписано давать ей это и наблюдать за тем, чтобы она ела и пила, а потом сидеть с ней в течение часа, чтобы она не вышла и не вызвала рвоту.

Я заметила, что она была очень боязлива и считала, что никто ее не любит. Что ее чудесные добрые родители, в сущности, разочаровались в ней, и она не знает, как сделать так, чтобы они были ей довольны. Она считала, что в душе она плохая и злая и что должна скрывать это, потому что, если это откроется, мир провалится в тартарары. Она была вынуждена проделывать множество ритуалов, и повторяла снова и снова, что иначе внутри наступит черный хаос и тогда ей придет конец.

Я видела, что вокруг нее была очень хрупкая атмосфера, что она чрезвычайно легко подвергалась воздействию полей других людей, особенно если другим было что-то от нее нужно. Она сразу чувствовала себя виноватой и пыталась удовлетворять желания других, и когда она делала это, она теряла себя. Я видела, что она была как бы «никем», когда она была с другими людьми. Тогда я решила, что мне нужно разгрузить мое поле, и после некоторой тренировки у меня стало получаться. Когда я сидела с ней, после того, как она поела, она становилась «кем-то» и открывала для себя совершенно новые вещи. В ней рождались новые мысли, и мы говорили и смеялись, и она отваживалась высказывать свои взгляды. Спустя какое-то время я научила ее, как ей нужно думать, чтобы быть «кем-то», даже если она чувствует угрозу со стороны других, за два месяца она научилась этому, и тогда ей сказали, что она выздоровела и может отправляться домой.

Через пару лет я встретила ее на улице, и она вся светилась. Она ходила в гимназию, у нее были хорошие отметки, она была стройной, но не тощей. Она рассказала, что она по-прежнему закрывала глаза и делала то же самое, что и тогда, когда мы тренировались вместе, и что когда она оказывается в критической ситуации, в фокус опять попадает проблема питания, но она может справляться с ней. Она также перестала бояться, что ее не любят родители. Во время ее болезни они оставили свои ожидания и требования и перестали хвалить ее за все, чтобы она постоянно становилась лучше и лучше. Это научило меня понимать разницу между признанием и похвалой.

Некоторые дети поступали с безобразными синяками, после каких-то странных происшествий. Я часто замечала в полях их родителей большие дыры, и их реакции были бурными и жесткими. Я видела, что они боятся и постоянно вынуждены обороняться. Иногда я устанавливала контакт с ребенком, и он находил безопасное место внутри себя и учился быть начеку. От этого ребенок, конечно, не удовлетворяется своей домашней средой, но, по крайней мере, находит маленький островок защищенности и мира со мной.

В это время я начала работать инструктором по плаванию. Много детей всех возрастов хотели научиться всем стилям плавания и обнаружить свои способности. Я ходила на курсы, потом сдала экзамен и получила диплом инструктора высшей категории. Летом: я работала в кассах открытого бассейна и время от времени исполняла роль инструктора по плаванию.

Я сразу заметила, что дети боялись воды, потому что у них был внутренний страх катастрофы. Часто страх возникал по вине родителей, или оттого, что с ними неосторожно обращались в воде. Я направляла свои усилия на то, чтобы как можно бережнее обращаться с их страхом, пока они не получают позитивное ощущение от плавания, и этот шаг часто оказывался решающим. К концу занятий многие дети полюбили воду и с удовольствием купались. Это было самое важное, если они еще и научались плавать, было хорошо, но это было не обязательно.

После детского отделения я стала работать в реабилитационной клинике. Это было отделение, где лежали больные с длительно текущими инфекциями. У многих больных был рак в последней стадии, и над отделением висел страх смерти. Я видела, что многим представителям медперсонала это было в тягость. Если кто-то нажимал на кнопку вызова каждые пять минут, на него сердились и думали, что он «надоедливый». Я отметила особую атмосферу, которая царила там, и она была заразительной. Все постоянно бегали взад и вперед и делали массу вещей, независимо от того, было это кому-то нужно или нет. По прошествии некоторого времени я стала работать по ночам, и у меня появилось много времени для общения с больными.

Когда кого-то из них одолевало мучительное беспокойство или страх, я оставалась у этого больного после того, как выполняла назначенные процедуры. Я садилась рядом, брала его за руку и рассказывала о мире фантазии. Тех, кто мог говорить, я спрашивала, как выглядит их страх, и получала подробное описание их ада, и всяческих ужасов, которые только может переживать человек. Самая сильная мука была для многих в том, что их жизнь не завершена, что они жили неправильно, что они не получили того, что хотели (как будто есть что-то особенное, что можно получить от жизни, как будто она может быть завершенной в каком-либо смысле), что они очень боятся или отягощены долгом. Это легко превращалось в озлобление и выплескивалось на нянечек и медсестер. Ведь они жили, и впереди у них оставалось время. Эта зависть была ужасной для тех, кто испытывал ее. Они не могли перестать злиться и причинять беспокойство, и испытывали все более мучительные угрызения совести. Я обратила внимание на этот замкнутый круг и на то, что эти больные как раз хотели говорить о своей жизни, достичь какой-то общности и преодолеть страх смерти. Я садилась рядом и тихо просила их рассказать о своей жизни. Я просила их рассказывать о том, что было в ней светлого и темного. Часто они застревали на темном, и только по прошествии долгого времени и после многих «сидений» они выходили из него. Я спрашивала, какой опыт они приобрели, чему эти страдания научили их, и можно ли считать, что они получили какое-то удовлетворение от всего этого. Часто что-то приходило им в голову, на душе становилось светлее, и мы начинали веселиться вместе.

Еще я проделывала с ними то, что я теперь называю предварительной мыслительной работой. Это означает, что после всех их рассказов я собираю все воедино и делаю из этого сказку. Я прошу пациента закрыть глаза и послушать одну историю. Что при этом происходит? Перед больным проигрывается вся жизнь, пациент входит в контакт со своим жизненным чувством, он может дать выход тем чувствам, которые появляются у него, и говорить о своей жизни по-другому. Иногда я проделывала предварительную мыслительную работу над умиранием и над тем, что происходит после смерти, и их страх смерти уходил.

Корень страха был в том состоянии, когда человек еще не родился, поэтому нужно привести его назад и сделать так, чтобы он пережил это, и тогда страх смерти исчезает. Зато может остаться страх перед страданием, но таким же образом можно присоединить страдание, так чтобы оно стало переносимым и стало союзником жизненного чувства. В то время считалось, что не следует полностью снимать боль, чтобы не вызывать у пациента зависимости от наркотиков. Это было так глупо, потому что никто не выходил из отделения живым.

Я вернулась обратно в детское отделение. У меня не было никакого образования, поэтому я подменяла то одного, то другого работника. Потом мне сказали, что для получения разрешения на работу в больнице нужно окончить курсы санитаров. Я хотела сразу уйти из больницы. Я не смогла научиться читать и писать во время обучения в начальной школе, но после этого занималась со специальным учителем и научилась худо-бедно понимать текст и относительно разборчиво писать, но выдержать почти трехмесячный курс лекций по теории было мне не по силам.

Заведующая нашим отделением разговаривала со мной и сказала, что она будет вести курсы, и что она очень хорошо знает, что я умею. Она считает, что я очень способная и могу «брать» как детей, так и родителей, и она хочет, чтобы я пошла на курсы. Она внесла меня в

список и сказала, что для меня найдется место в больнице, если я передумаю. Это была самая ужасная мука в моей жизни. В тот день, когда должны были начаться курсы, я ходила взад и вперед по комнате, выходила из дома и на полпути поворачивала назад. Наконец, через два часа после начала занятий я стояла перед дверью аудитории. Начался перерыв, и заведующая отделением увидела меня, вышла и повела меня в аудиторию, показала, где мне сесть, и представила меня так естественно, что я тут же почувствовала себя на месте. Мы изучали анатомию, микробиологию, уход за больными и психологию. Я часто не успевала готовиться дома, но другие рассказывали мне, а преподаватели знали о моих проблемах и очень добросовестно объясняли мне материал.

К моему изумлению, я обнаружила, что мне легко учиться. Все, что я узнавала, просто откладывалось у меня в голове и выскакивало, когда меня спрашивали. К сожалению, этого не происходило на письменном экзамене, у меня не возникало никаких ассоциаций, и мозг не просыпался. На счастье, при дислексии можно было сдавать все экзамены устно, так что все образовалось. Я окончила курсы.

Это необычайно укрепило во мне веру в свои силы. В моей жизни открылось совершенно новое измерение. Учиться — то, о чем я даже не мечтала, стало возможным, совершенно неожиданно стало доступным для меня. Еще я обнаружила, что у людей бывают разные трудности в обучении. Раньше я даже не задумывалась ни о каких различиях между людьми. Теперь я поняла, что у меня хорошо получается объяснять, и люди понимают. Я делала это немного не так, как другие, но это работало.

Когда нужно было усвоить трудный материал, который к тому же был мудрено изложен, мой товарищ читал мне, а потом я объясняла всем просто и доступно. Благодаря этому наша группа получила самые высокие отметки на курсах.

У меня также развилась другая способность. На экзамене, когда я не знала, как отвечать на вопрос, я просила преподавателей сформулировать вопрос по-другому, и пока они обдумывали, как им яснее выразить свою мысль, я ловила какой-то импульс от преподавателя, и — хлоп! — я знала ответ. Иногда я отвечала слишком хорошо, так дословно, что преподаватель не верил своим ушам. Я научилась пользоваться этим только в крайнем случае, и так было всегда, чему бы я ни училась.

Во время работы в парикмахерской я научилась следить за своей внешностью, комбинировать цвета, смотреть на вещи, разбираться в разных стилях, в том, что нравится другим, что «внутри» и «снаружи». Я стала по-другому носить волосы, поменяла прическу и изменила цвет волос, стала носить другую, модную, одежду, у меня появился свой стиль. У меня все еще не было никакого чутья в том, что касается одежды, причесок, косметики и т. п., когда дело касалось меня самой, но у меня развилось чуткое восприятие того, что подходит моим клиенткам. Узнавая об их жизни, я могла дать им удовлетворительный ответ относительно того, что идет именно им.

Часто приходили люди и спрашивали совета по всем вопросам: цвет волос, оправы для очков, стиль одежды и т. п., и мне казалось ужасно интересным помогать им своими идеями. Я никогда не понимала, откуда они берутся у меня, но я знала, что все будет хорошо, и я была довольна этим, и они тоже оставались довольны.

Моя начальница, молодая красивая женщина с великолепными волосами натурального золотисто-рыжего цвета считала, что я выгляжу достаточно хорошо, чтобы исполнять роль Лусии (Лусия — девушка, которая играет главную роль в праздновании Дня Лусии, который приходится на 13 декабря и предшествует дню зимнего солнцестояния. Это праздник света, который проводится в память о Святой Лусии), и занесла меня в список. Я вошла в состав претенденток и благодаря этому получила совершенно новое представление о своей внешности. Больше ста девушек предстали перед жюри, и из их числа предстояло отобрать семь. Нужно было пройти туда и сюда, и члены жюри рассматривали тебя. Постепенно тех, кого не отобрали, отправляли домой и говорили им, что если их выберут, их известят об этом в ближайшие дни, а нас, отобранных, отправляли в специальную комнату, и мы ждали, пока закончится просмотр. Модная фирма одела нас в одинаковые блузки и юбки, парикмахер

сделал нам прически, фотограф сделал наши портреты, мы получили звезды с номерами и позировали с ними перед журналистом местной газеты.

Я ездила и выступала на всяких празднествах, с моей помощью люди собирали деньги на благотворительные цели, я превратилась в живую рекламу модной фирмы, фотоателье, ассоциации парикмахеров и т. п. Я поняла, что такое современная цивилизация, что значит быть частью современной жизни — стоять у магазина и быть любезной, приветствовать посетителей, продавать им лотерейные билеты. Мне нравилось это, я была на седьмом небе и чувствовала себя важной и значимой. Это было новое для меня — ощущать себя центром внимания, иметь значение, какой восторг!!!

После этого я поняла, что, в сущности, ценится только внешность, что другие смотрят на человека и оценивают его как способного или никуда не годного, красивого, очаровательного, приятного и т. д. Я стала пытаться выяснить, как человек понимает, к какому разряду отнести то, что он видит. У меня не было никакого внутреннего ощущения того, что красиво, а что безобразно, я спрашивала других и узнавала, что думают другие, я собирала все это вместе, чтобы знать, что думает большинство, тогда я могла бы с уверенностью знать, как держаться и выглядеть правильно.

Раньше мама диктовала мне, что мне делать с моей внешностью, у нее был отменный вкус, так что я не была хуже всех, она с большим драматизмом в голосе заявляла, как ей стыдно, или как я огорчаю ее, если я сама не могла сделать правильный выбор.

Вступить в этот вторичный мир было очень важно, чтобы стать, в каком-то смысле, настоящим человеком, а не просто попугаем. Проблема состоит в том, что человек легко становится жертвой этой внешней оценки, придает ей первостепенное значение и считает, что она имеет отношение к нашей личностной ценности. Мы полагаем, что это имеет отношение к удовлетворению наших потребностей, что можно получить внешнюю защищенность, которая каким-то удивительным образом избавит нас от внутренней борьбы, с которой мы все время пытаемся совладать, что безмятежность возможна. Это не так, единственное, что мы получаем в результате, — это уныние и недовольство собой.

Со временем я поняла, что часть проблем возникает из-за симбиоза. Я была твердо защищена от симбиоза с матерью. Она отвергала меня так безжалостно, я так пугалась, что проваливалась в пустоту. К сожалению, у меня была склонность к аутизму, и поэтому я не выходила из пустоты и кричала что есть мочи, меня почти невозможно было успокоить. Я оставалась в состоянии пустоты, где люди были только обстоятельствами, а не отношениями, в первые три года моей жизни.

С отцом было по-другому. Он смотрел на меня с любопытством, он играл со мной и стремился достичь контакта со мной, не потому, что у него была потребность в этом, а потому, что он считал это интересным и увлекательным, и он любил меня так же безусловно, как моего старшего брата.

Во многих случаях симбиоз возникает у людей по причине потребности взрослых в обладании или собственных неудовлетворенных потребностей. Такие люди обречены страдать от страха катастрофы при разлуке; Нашу цивилизацию отличает высокая приспособляемость — приспособляемость к разрушению, а не к общности. Это весьма изощренная модель того, как долг, стыд, совесть, нравственность и т. п. накладывают отпечаток на человеческую жизнь и отношение к себе.

Люди оценивают себя, делают выводы, что хорошо и что плохо, и это тяжким грузом ложится на их плечи. То, что хорошо, человек должен знать и исполнять, иначе он плохой человек и не имеет прав на существование. Если это плохой человек, он должен терзаться сознанием своей вины, его будут мучить стыд и угрызения совести и он тоже не может существовать. Так что трудно найти нишу, которая не была бы поражена этой обусловленностью.

Это порождает, в частности, анорексию — булимию и комплексы, связанные с собственным телом у девочек, а у мальчиков неспособность стать взрослыми, зрелыми мужчинами. Бодибилдинг и спортивная борьба заменяют внешние признаки мужественности.

Вся молодежная культура строится на компенсации того, чего лишает людей симбиоз, того, что я называю автономностью, и многие продолжают оставаться юношами, разменяв шестой десяток.

Впоследствии я внимательно рассмотрела все варианты и создала собственный фундамент ценностей, который строится на том, что люди, в своей массе, должны чувствовать себя довольными и радостными. Каждый раз, когда появлялась новая тенденция или новая крайность, нужно было увидеть, как от этого меняются понятия людей, и приспособить к этому внутреннее видение. Я разработала две параллели: то, что я действительно думала, и то, что принято считать. Я комбинировала то и другое и проводила четкое различие между ними, так что тот, кто обращался ко мне за советом, мог выбрать, проявить ли ему мужество или предпочесть безопасность.

Я не оставляла попыток понять, что значит быть нормальным, среднестатистическим жителем небольшого города, как нужно думать и чувствовать, как вести себя и как одеваться, чем нужно заниматься, чтобы получить одобрение окружающих, и как нужно говорить.

Постепенно я принимала ценности материального мира и понимала, как человеку нужно жить и каким образом можно отклониться от общего пути. Основным правилом было то, что человек должен создать семью: человек должен найти спутника жизни, жениться и иметь детей. Это меня прекрасно устраивало, я усвоила, что человек должен вести себя особым образом, чтобы быть привлекательным и это должно, если повезет, привести к браку.

С того дня, как я начала упражняться, чтобы иметь коммуникативное поле, и до тех пор, пока я ни приобрела опыт пребывания в атмосфере другого и понимания, как следует вести себя, окружающие уже воспринимали меня как нормально функционирующего человека. За несколько лет я встретила много мальчиков и постепенно нашла того, который подходил мне. Он очень любил меня, и в умственном отношении он был очень развитым и уравновешенным. Он принимал жизнь такой, какая она есть, шутил и брал на себя ответственность с легкостью, которой окружающие могли только позавидовать. Он считал меня интересным, непредсказуемым человеком, с которым никогда не бывает скучно или тягостно.

Этого человека отличало то, что у него не было симбиотических дефектов, он был совершенно автономным и радовался жизни так, как может радоваться только человек, на котором нет ярма собственности. Деньги были сопутствующим обстоятельством, которым человек завладевает, чтобы весело проводить время. Автомобиль был жестянкой, за которой человек должен был, или мог, ухаживать и следить, потому что она служит его целям. Если случилось помять ее, его первыми словами были:

«Эти заводы только делают машины, но надо же еще и кормить их». Потом уже он начинал рассуждать о том, как найти деньги, «ресурсы», чтобы починить машину.

Я родила от него ребенка, когда мне было почти восемнадцать лет. Мы по-прежнему жили на крестьянском дворе и, несмотря на то, что со мной трудно было войти в близкий контакт, благодаря ему и всем другим домочадцам дочке был обеспечен хороший уход.

Чрезвычайно важно различать жизнь в автономной общности с окружающими и жизнь без всяких связей. Совершенно не иметь связей не может ни один человек, тогда он чахнет и разрушается, и единственное, что может спасти его в таком случае, — симбиоз. Это только при условии, что у человека возникает отчаянная потребность в единственно возможном выходе, — прорасти в кого-то другого, чтобы опять познать общность. В других случаях достаточно того, чтобы были люди, которые эмоционально близки для ребенка, чтобы он мог впитать в себя то, что ему нужно, оставаясь в своей автономности, и развиваться естественным образом, без обусловленного жизнью контроля.

Жизнь, которой мы жили, была наполнена связями. Дом кишел людьми, теми, кто жил постоянно, и теми, кто приходил в гости. У меня было много возможностей узнать, что происходит с человеком в обществе других и в одиночестве, и я занималась этим, как только представлялся случай. Долгое время я не могла быть одна. Каждый раз, когда я оставалась одна, исчезала моя способность думать. Возникало множество странных, иррациональных видов поведения, которые нельзя было понять ни изнутри, ни снаружи.

Мне было важно понять именно симбиоз и автономность в их глубинном значении. Именно тот, кто утратил контакт со своим утробным чувством умиротворенности — безграничного доверия, удовлетворения всех своих потребностей, — не требующим никаких усилий, становится деструктивным, его называют злым или плохим. Чтобы выйти из этой деструктивности, нужно восстановить «контакт с материнской утробой», но это должно произойти на нематериальном уровне, потому что человек никогда не возвращается снова в то состояние. Важно помнить о том, что у всех есть подобный опыт, даже если он недоступен, предан забвению. У нас есть память об этом, и благодаря предварительной мыслительной работе можно снова обрести эти воспоминания.

За годы моей работы я позволяла людям, которые утратили свою автономность, войти в целительный симбиоз со мной. Это не значит, что я становлюсь хоть немного зависимой от человека, просто человек получает разрешение реагировать на все те страдания, которые доставляет ему то, что произошло и что наслылось в нем, когда он или она утратили автономность.

Обычные дети, которые рождаются в нормальном сообществе и никогда не подвергаются насилию и эксплуатации, не страдают от заброшенности и одиночества, не нуждаются в симбиозе, им нужно только обычное человеческое, естественное сообщество, и, если они получают его, они никогда не страдают от ревности и страха разлуки, проявлений деструктивности и т. д.

Я открыла, что это один из краеугольных камней в моем понимании жизни. Я утратила общность, когда мне было три дня от роду. Я попала в пропасть аутизма, и не вернулась назад. С другой стороны, я жила в очень полноценном сообществе, и мне посчастливилось быть окруженной людьми, которые предоставляли себя в мое распоряжение, и я вступила в симбиоз с ними. При этом меня не заставляли приспособливаться, они делали все, чтобы появилось и смогло укрепиться мое присутствие, мое сознание.

Эта неравная борьба продолжалась двадцать пять лет, вместо того, чтобы проходить с семи до десяти лет. Для меня она началось в десять лет, когда для большинства других она, как правило, уже заканчивается. Таким образом я получила большой опыт того, какие основополагающие условия необходимы, чтобы быть человеком, стать общительной, цивилизованной и развитой на вторичном уровне, и с тех пор я применяла это на практике каждый день.

Когда я работала кассиром в бассейне, я общалась с представителями коммуны, в частности с директором молодежного центра. Он приходил несколько раз и беседовал со мной, спрашивал, не хочу ли я вести занятия в центре. Он считал, что им нужен человек, который будет учить подростков уходу за волосами и гигиене, он имел в виду, что они такие неухоженные, что обычные люди сторонятся их. К тому же он знал, что я занималась со многими детьми и подростками, которые нуждались в дополнительной помощи взрослых, и эти подростки рассказали ему обо мне.

Я, не раздумывая, согласилась и осенью приступила к работе. Эта работа подходила мне как нельзя лучше. В первый раз кто-то поставил эти экзистенциальные вопросы, на которые мне нужно было отвечать. Я получила возможность применить все, над чем я раздумывала, и вербализовать это. Передо мной встала новая проблема — подростки, с которыми плохо обращались, и им нужна была практическая помощь. Я стала искать социально-дезадаптированных взрослых, чтобы помочь детям и подросткам. Я ходила по тюрьмам, психиатрическим больницам, лечебницам, местам, где собираются алкоголики и наркоманы, и всяким другим местам, где была представлена изнанка общества. Я много общалась с органами социальной защиты, людьми, осуществляющими надзор за условно осужденными, работниками тюрем. Я понимала, что этим подросткам нельзя помочь, если не помогать тем людям, с которыми они вместе живут.

Я принимала участие в разработке той деятельности, которой теперь занимаются педагоги-консультанты. В числе других я организовывала работу на местном уровне, одним из результатов которой стал сбор статистических данных в системе социального обслуживания

населения, и участвовала в разработке открытых досуговых объединений, которые потом привели к созданию местных центров. Было еще много других проектов, связанных с молодежью, таких как, например, музыкальные клубы. Мы организовывали рокеров, группы протеста, вечеринки, которые потом переросли в танцы без наркотиков и культуру без наркотиков, и т. д. Это были пятнадцать лет интенсивной работы с подростками и их окружением, их обучением в школе, домашней обстановкой, работой, образованием и досугом. Она была направлена на то, чтобы подросток мог успешно социализироваться, чтобы он не становился отверженным и чужим в обществе.

Это была профилактическая деятельность, целью которой было оказание всесторонней помощи наиболее незащищенным гражданам, и это привело к тому, что стало гораздо меньше асоциальных, криминальных, употребляющих наркотики подростков, чем могло бы быть, если бы этой мощной, плотной спасательной сети не существовало. Эта деятельность охватывала не так много людей, но этим людям нужно было самое лучшее. Один такой человек, став взрослым, может погубить так много других, что каждую минуту, потраченную на такого подростка, мы вкладываем в будущее. Например, если сделать так, чтобы человек из социально неблагополучной среды не пристрастился к наркотикам, одним бессовестным торговцем наркотиками будет меньше. Если увлечь подростка ремесленным трудом, он станет учиться какой-нибудь специальности и обретет новые ценности в жизни, тогда одним преступником будет меньше, и т. д.

Эту точку зрения чрезвычайно трудно отстоять в различных инстанциях, потому что впоследствии такой человек выглядит нормально функционирующим, и никто не может сказать, каким он мог бы стать, если бы не попал в эту спасательную сеть. Мы, те, кто работает с ними и видит, как становится на ложный путь подросток, который не попадает в спасательную сеть, мы знаем это, но люди в массе своей не знают этого, в особенности люди, принимающие политические решения.

Это привело меня к терапевтической деятельности, к тому, что я стала работать консультантом, я изучила множество методов терапии и пыталась найти самый короткий путь, чтобы покончить с этими страшными историями, которые заводят подростков в дебри.

Со временем я поняла, что никакие методы в мире не вылечат человеческую душу, это может произойти только через встречу, связь и контакт. Без контакта человека с человеком, общности и доверия не достичь никакого терапевтического результата. Можно разрешить проблемы достаточно быстро, но чтобы человек научился жить в новой системе координат, нужно очень много времени, почти столько же времени, сколько ушло у меня, чтобы научиться коммуникации, и компенсировать то, чего недостает внутри меня.

Я прочла много литературы и получила массу теоретических знаний, благодаря работе я приобрела богатый профессиональный опыт, я входила в сокровенные глубины стольких людей! Иначе говоря, я собрала такой внушительный багаж, что теперь ко мне за консультациями обращаются институты, коммуны, частные предприятия, зовут на публичные лекции и на курсы повышения квалификации различные образовательные учреждения. Мне предлагают руководить проектами и вести семинары для учителей в школах.

Та сфера жизни, о которой я получила знания, а именно условия коммуникации, с чисто научной точки зрения не очень исследована. Накоплено много знаний о поведении человека, о биологии и проблематике наследственности, о физических условиях существования, о душе — главным в этих дисциплинах. Накоплено много социологических знаний о поведении массы, о социальных тенденциях и стадиях развития, об обществах, их зарождении и закате, но до сих пор социальной психологии не уделяют должного внимания. Я думаю, это происходит потому, что очень трудно найти материальное выражение для той нематериальной области, где речь идет о кодах/нормах/культуре в обществе, которое все время сосредоточено на производимых продуктах, и нужно попытаться выработать определенную аргументацию и держаться ее главной связующей нити, логических структур и т. д.

Коммуникация не рациональна, не логична, не однозначна, — она очень парадоксальна, потому что человек должен одновременно задействовать несколько планов. Человек должен

все время переключаться с одного на другое и отдавать себе отчет в том, что он делает, чтобы не запутаться, а это трудно. Кроме того, существует и обратный закон. Нормальная коммуникация означает, что жизнь такова, какой она должна быть, что не о чем разглагольствовать, нечего оценивать и анализировать или демонстрировать результат. Нужно говорить о результате только тогда, когда что-то не складывается, когда есть проблемы, дисфункции или расстройства, но трудно понять проблемы, когда их больше нет. Именно отсутствие результата затрудняет поиск средств на профилактическую деятельность, или на исследования.

Люди, с которыми я встречаюсь сегодня, не могут понять, что у меня были те проблемы, которые у меня были: просто нельзя так хорошо функционировать, если у тебя были такие проблемы. Мне невероятно повезло в жизни. Мне была оказана та помощь, которая была мне необходима. Это значит, что можно исцелить человека, восполнив недостающие звенья, и еще это значит, что у меня было достаточно сил, чтобы миновать или пройти сквозь все заторы, тупики и перегородки, перед которыми я оказывалась.

На моей стороне было одно преимущество — мне никогда не нужно было спать больше четырех-пяти часов, поэтому в моем распоряжении было гораздо больше времени бодрствования, чем у большинства людей. Другие спят намного больше, потому что они не научились приводить в равновесие свой организм так, чтобы «жизнь была именно такой, какой она должна быть». Они оказались во власти повсеместно распространенного заблуждения, которое доводит до всеобщего сведения Национальное управление Здравоохранения, что человек должен восемь часов спать, восемь часов работать и восемь часов отдыхать, чтобы хорошо себя чувствовать. Этот заботливо взлелеянный миф часто живет в умах людей, которые просыпаются после пяти-шести часов сна и чувствуют себя бодрыми, но считают, что у них проблемы со сном.

Это один из тех широко распространенных мифов, которыми полна цивилизация и которые я люблю разоблачать, но это, пожалуй, тема для другой книги или лекции.

Жизнь, любимая моя жизнь!

Я люблю ненавидеть тебя — источник удивительных несчастий. Жить, существовать, быть: этот сон, который называется реальностью. Иногда ты играешь со мной в прятки, прячешься и замолкаешь, тогда я думаю, что тебя нет, свет исчезает, сгущается тьма, в этой тьме ты прячешься в тайное укрытие и закрываешься всяческим хламом. Таковы условия жизни. Как будто для тебя это вопрос победы или поражения, как будто есть кто-то, кто контролирует и управляет, но ты, как солнечный зайчик. Неожиданно ты ослепляешь, если правильно держать зеркало, если направить его на солнечный свет, чтобы ты могла поиграть. Если долго стоять неподвижно, загорается огонь, и ты начинаешь гореть неукротимо, и тогда я должна тушить этот пожар. Ужас, который охватывает меня, такой же неукротимый, как ты, но если ты показываешься из своего укрытия, страх меняет направление, все тело дрожит и трепещет, и свет рассеивает тьму.

Самое интересное, что ты непредсказуема, что ты иногда проявляешь себя в моем выборе, и кажется, что я владею тобой, все идет как надо, и я могу горы свернуть, но как только у меня появляется хоть малая доля уверенности в своих силах, ты покидаешь меня. Тогда существование превращается в череду обязанностей, и я начинаю бояться, что у меня ничего не выйдет, я разрываюсь между кнутом и пряником, скорость нарастает, и ты снова ныряешь в свое тайное укрытие.

Иногда ты умело пользуешься моими недостатками. Как раз, когда я начинаю думать, что скоро конец света, когда бессилие впивается в меня своими когтями, ты всплываешь в моем сознании и вырываешь невероятные, безумные слова из моего рта, на какой-то миг все погружается в безмолвие и медленно начинает вертеться в правильном направлении. И опять ты неожиданно бросаешь на меня солнечный зайчик.

Подумать только — у меня ушло полвека на то, чтобы узнать твою природу, чтобы

отважиться поверить тебе, пойти за тобой, прежде всего надеяться на твою ненадежность и любить тебя безусловно, несмотря ни на что. Дать тебе право определять мое будущее, потому что ты все равно сделаешь это, и полностью отвечать за все свои поступки — разве это не привилегия? — и, если я живу в этом, проживаю это, ты остаешься со мной. И как только засветит солнце, появляются солнечные зайчики. Если нет солнца, нет никаких зайчиков. Тогда я впрягаюсь в это ярмо и делаю все, что в моих силах.

Контрасты. Ты любишь контрасты, потому что через них ты заставляешь меня думать. Ты рассуждаешь просто, но изысканно, и приходится справляться с жизнью. Мне кажется, что я хорошо справляюсь, даже если мои страстные желания иногда разбиваются в прах или цепляются за дела житейские.

Сначала ты заставляешь меня прицепляться ко всему и вся. Заставляешь меня организовывать и упорядочивать, заставляешь меня, соблюдая мельчайшие подробности, обращаться с элементарными вещами, каждая мелочь становится существенной, и ты не терпишь небрежности, лени или пользования чужим трудом. Ты стучишь меня по спине, трясешь моей головой, говоришь, что так не годится, что есть еще много дел. Я проклинаю тебя, думаю, что ты строга и беспощадна ко мне — больше, чем к другим. Ты непримирима — я неистовствую, извергаю злобу, и... ты возвращаешь меня к порядку. Я все глубже и глубже проникаю в жизнь, тяну и дергаю за ниточки в хаосе, наматывая красивый клубок, из которого потом и свяжу одежду. Иногда у меня получаются красивые картины. Они не имеют практической пользы, но служат для приукрашивания тебя, и это явно забавляет и увлекает тебя. Я не должна быть небрежной, потому что ты бесишься и останавливаешь свой ход.

Когда я думаю, что нашла общий язык с тобой, когда я думаю, что теперь могу «почивать на лаврах», ты требуешь, чтобы я отвергла все, чтобы я шагнула в пустоту без парашюта, пребывала в страдании, в темноте и ничтожности и использовала то мужество, которое накопилось вследствие моего «зависания» во всем и вся, открыла бы твою глубинную суть, твои глубинные условия и рассказала об этом другим.

Какой дьявольский план ты придумала для меня! Только теперь я начинаю понимать его смысл. Единственное, чем я могу утешиться в несчастье, это то, что ты собираешься дать мне долгую жизнь, чтобы иметь шанс заставить весь механизм работать.

Ха-ха... Тебе остается только заставить меня перестать действовать деструктивно, поставить меня на ноги, снова отпустить и посмотреть, куда я пойду. Ты можешь только играть со мной, манить и очаровывать меня, прятаться от меня, чтобы заставить меня думать и размышлять, но ты не можешь выбрать за меня. Это я должна делать сама. Ты наблюдаешь за всем и оказываешься на всех поворотах моего пути, сколько бы времени это ни заняло.

Хорошо, тебе удастся проникнуть в меня. Я бросила курить, перестала отравлять себя. Пристрастие к алкоголю ты остановила так жестко, что это чуть не стоило мне жизни. Я считаю, что было необходимо перестать. Тебе это удалось. Чертовка, ты не допускаешь лени. Я также сбросила лишние килограммы, чтобы мой скелет мог выдержать меня. Теперь ты довольна?!

Иногда мне попадаются на глаза старые пословицы, в которых ясно выражается твоя игра. Тебе удавалось выкинуть такое, что перевешивает все парадоксы, в которых ты вынуждаешь нас жить.

Я надеюсь, что это тебя занимает, ты обрушиваешься на нас со своими несчастьями, и тебе ничуть не стыдно. Не можем ли мы поменяться местами — ты и я? Ты будешь человеком, а я жизнью. Было бы забавно, не правда ли? Ты не представляешь, как я буду преследовать тебя. У тебя не будет ни одной спокойной минуты.

Когда я читаю Библию и другие священные книги, я недоумеваю. Ты помещаешь себя в определенные фразы, заставляешь их блеснуть, выводешь их за границы понимания и тотчас даешь плоское правило, какую-нибудь заповедь, из-за которой люди делят себя на «мы» и «они»: «мы праведники, а они грешники».

Неужели ты не понимаешь, что ты делаешь со мной? Нет, ты не понимаешь, потому что тебе недосуг. У нас опять ничего не получается, ты можешь только играть нами, а мы должны

идти сами, выбирать сами, потому что так устроена наша реальность, наша цивилизация.

Так трудно понять. Ты окрашиваешь все, метишь все своим присутствием и отсутствием, тем не менее, ты не можешь сделать что-нибудь с нашими поступками. Последствия мы должны принимать сами, впрягаться в ярмо и делать все, на что мы способны, а мы не делаем этого, скорее наоборот, делаем хуже, но... но... мы не понимаем, как лучше, а ты дразнишь меня, хочешь, чтобы я поняла, чтобы я действовала. Иногда ты участвуешь в этом, и получается правильно, но часто, слишком часто, я должна делать все сама в поте лица, пребывать в мучительной неизвестности и терпеть неудачи.

«Верти землю у меня под ногами, дай мне пойти за тобой, я такая же беззащитная, как ты...»

Знаешь, это только начало. Начало встречи с тобой, и я, черт возьми, буду требовать с тебя ответа и не дам тебе шанса ускользнуть.

Твоя Ирис Юханссон

www.e-puzzle.ru